

ИСТОРИЯ И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

ХРЕСТОМАТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ



УДК 482-02(075.8)+482-087(075.8)
ББК 81.2Рус-03я73+81.2Рус-67я73
И85

Составители:

Е. И. Янович (часть I);
Л. Г. Мощенская (часть II);
В. А. Санникович (часть III)

Рецензенты:

кандидат филологических наук, доцент *Т. Г. Трофимович*;
кандидат филологических наук, доцент *В. Ф. Трайковская*

История и диалектология русского языка: Хрестоматия исследований: Учеб. пособие / Сост.: Е. И. Янович, Л. Г. Мощенская, В. А. Санникович. – Мн.: БГУ, 2002. – 202 с.
ISBN 985-445-660-9.

Хрестоматия содержит (в сокращениях) научные статьи и разделы научных монографий, которые могут быть использованы при изучении курсов исторической грамматики русского языка, истории русского литературного языка и русской диалектологии. В состав хрестоматии были отобраны наиболее важные и обобщающие работы, не всегда доступные читателям.

Хрестоматия исследований по истории и диалектологии русского языка издается в Беларуси впервые.

Предназначена для студентов филологических специальностей высших учебных заведений.

УДК 482-02(075.8)+482-087(075.8)
ББК 81.2Рус-03я73+81.2Рус-67я73

© Янович Е. И., Мощенская Л. Г.,
Санникович В. А., составление, 2002
© БГУ, 2002

ISBN 985-445-660-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глубокое изучение историко-филологических дисциплин не только предполагает обращение к учебным пособиям теоретического характера, но требует ознакомления с основными трудами ученых, сыгравших заметную роль в разработке соответствующих дисциплин, как с основными источниками, определяющими методы и направления научного поиска и познания.

Предлагаемая хрестоматия исследований содержит в извлечениях научные статьи и монографии, посвященные вопросам, которые составляют содержание трех вузовских дисциплин историко-филологического цикла: "Историческая грамматика русского языка", "История русского литературного языка", "Русская диалектология". Эти статьи и монографии, как правило, являются труднодоступными для пользователей, так как или опубликованы в малотиражных изданиях, или опубликованы несколько десятилетий тому назад (сохраняя при этом высокую научную актуальность как отражение фундаментальных достижений в развитии соответствующих наук), или просто представлены в библиотеках, наиболее доступных студентам, незначительным количеством экземпляров.

В составе I части "Историческая грамматика русского языка" в разделе "Введение" помещена (в сокращениях) статья классика русской филологии В. В. Виноградова "Основные этапы истории русского языка", которая имеет первостепенное значение для освещения истории формирования общенародного русского языка. В этот же раздел включены фрагменты статьи О. Н. Трубачева "Языкознание и этногенез славян", которая содержит современные результаты разработки названной проблемы, имеющей многолетнюю историю, но будучи опубликована в шести журнальных номерах за разные годы, представляет особые трудности в отношении ознакомления с нею. Наиболее широким составом авторов отличается раздел "Историческая фонетика", в котором особо следует отметить ставшие классическими работы И. Фалёва, Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова. Обращение к этим работам позволит студентам ознакомиться с источниками тех идей и взглядов, которые

стали основополагающими для научного курса истории русского языка. В меньшей степени представлены исследования в области исторической морфологии и синтаксиса, что объясняется ограниченным объемом предлагаемого учебного пособия.

В составе II части "История русского литературного языка" в разделе "Введение" включены статьи, отдельные главы из монографий (в сокращенном или полном виде) В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, А. В. Исаченко, С. П. Обнорского, Б. Унбегауна, А. А. Шахматова, касающиеся основных определений и положений учебной дисциплины: понятий "литературный язык", "язык художественной литературы", основных концепций происхождения русского литературного языка, проблемы периодизации истории русского литературного языка. Во втором разделе "История русского литературного языка" представлены работы, раскрывающие процесс формирования русского литературного языка" представлены работы, раскрывающие процесс формирования русского литературного языка в разные периоды его развития. Прежде всего это касается ключевых статей и высказываний о литературном языке М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, творчество которых определило направление развития нового русского литературного языка. Раздел включает также основные положения монографии Б. А. Успенского 1994 г. "Краткий очерк истории русского литературного языка (XI – XIX вв.), отражающей новый подход к пониманию основных закономерностей исторического развития русского литературного языка, и классическую статью А. М. Селищева, впервые исследовавшего влияние революционных преобразований на русский литературный язык.

В III часть "Русская диалектология" включены работы как выдающихся славистов прошлого, так и современных исследователей русских диалектов. Систематическое изложение основных черт русских говоров и их классификация нашли отражение в книге Н. Н. Дурново "Введение в историю русского языка", изданной в 1927 г. в г. Брно. В приведенной в хрестоматии 2 главе этой книги "Нынешние русские наречия и говоры" дана классификация русских наречий и говоров, достаточно четко отражающая диалектную языковую реальность к моменту расцвета коренных говоров, которые с начала XX века стали активно разрушаться под влиянием литературной нор-

мы. В разделе "Грамматический строй" приводятся в сокращении работы диалектологов С. С. Высотского, Т. С. Коготковой, И. Б. Кузьминой, Е. В. Немченко, которые уделяют большое внимание не только наследию старого в диалектах, поскольку все диалектные различия унаследованы от прошлого, но и современным судьбам диалектов, изменениям, которые вносятся в них новыми условиями жизни сельского населения. Рассматриваемые ими лингвистические данные об утрате категории среднего рода, морфологизации процесса стяжения гласных, о постпозитивных частицах помогают правильно понять многие исторические изменения в говорах русского языка. Раздел "Лексикология и лексикография" включает работы Ф. П. Соколетова, И. А. Оссовецкого, Л. И. Балахоновой и предоставляет возможность судить о диалектной лексике как о потенциальном резерве общенародного языка.

При подготовке учебного пособия сохранялась орфография и пунктуация тех изданий, где были опубликованы исследования (это распространяется как на тексты работ, так и на ссылки, сделанные в текстах их авторами). Знаком <...> обозначены купюры в текстах, сделанные составителями хрестоматии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

ВВЕДЕНИЕ

В. В. Виноградов

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА¹

Статья первая

Термин "русский язык" употребляется в четырех значениях. 1) Он обозначает совокупность всех живых языков восточнославянской ветви от времени выступления восточных славян на историческое поприще до образования наций: великорусской, украинской и белорусской. 2) Он применяется для обозначения того письменного языка, который, сложившись на основе общеславянского литературного языка (так называемого церковнославянского), выполнял литературные функции в Киевской и Московской Руси до образования русского (великорусского) общенационального языка. 3) Он обозначает совокупность всех наречий и говоров, которыми пользовался и пользуется в качестве родного языка русский народ. 4) Наконец, он обозначает общерусский национальный язык, язык прессы, школы, государственной практики.

<...> Язык восточных славян еще в доисторическую пору представлял собою сложную и пеструю группу племенных наречий, уже испытавших разнообразные смешения и скрещения с языками разных народностей и заключающих в себе богатое наследие многовековой племенной жизни. Сношения и соприкосновения с балтийскими народностями, с германцами, с финскими племенами, с кельтами, с турецко-тюркскими племенами (гуннскими ордами, аварами, болгарами, хазарами) не могли не оставить глубоких следов в языке восточного славянства, подобно тому как славянские элементы обнаруживаются в языках литовском, немецком, финских и тюркских.

Занимая Восточно-Европейскую равнину, славяне вступали на территорию давних культур в их многовековой смене. Элементы древнегреческой культуры были занесены сюда издавна ионийцами, колонизаторами черноморского побережья. Установившиеся здесь культурно-исто-

рические связи славян со скифами и сарматами также нашли отражение и отслоение в языке восточного славянства.

Академиком А. И. Соболевским было указано множество палеонтологических отложений скифской культуры и языка в названиях мест, народностей, в именах, фамилиях и в областной лексике на пространстве СССР. Между тем в скифской культуре обнаружены исследователями, помимо греческих влияний, еще сильные влияния народов и языков Кавказа и Средней Азии.

Таким образом, археологические данные, показания языка, ономастика, топонимика и свидетельства о международных – особенно торговых – связях Южной России с древнейших времен дают основание построить историю этой страны на представлении о многовековом непрерывном преемстве ее сложной культурной жизни. Культура Киевской Руси вырастает на синтезе разнообразных традиций многовековой культуры, отчасти унаследованных от славянских родичей, отчасти выработанных в условиях самостоятельной жизни восточного славянства. Киевская Русь была первой и значительной попыткой разрешить задачу связи черноморской и прибалтийской культур и относительно устойчивой политической организации; все предыдущие государства Южной Руси сметены ходом исторической жизни, а восточное славянство на более широкой базе основало вековую непрерывную работу над объединением Восточно-Европейской равнины и создало Европейскую Россию.

<...> Чтобы стать на высоте тех задач, которые предъявлены были славянам условиями соседства и требованиями культурной жизни, им необходимо было сгруппироваться в племенные союзы и получить начатки государственной организации.

В борьбе с иноязычными врагами, главным образом с тюркскими кочевниками, восточнославянские племена сплачиваются в крупные государственные объединения. На место племен является новая историческая единица — область, земля, княжество. Областные объединения славян не совпадают с племенными. Они переименовывают их. К XI в. политический союз русских племен привел к образованию 13 княжеств (Киевского, Черниговского, Новгород-Северского, Переяславского, Галицкого, Волынского, Полоцкого, Смоленского, Муромо-Рязанского, Владимиро-Суздальского, Турово-Пинского, Новгородского, Тьмутараканского), большая часть которых (все, кроме Галицкого, Волынского, Рязанского, Новгородского) объединила разные племенные группы и говоры.

Киевское государство стало собирателем восточнославянских племен. На далеком от Скандинавии юге варяжские выходцы быстро ассимилировались в восточнославянской этнографической среде.

В XI в. осуществилось в древней Руси коллективное единодержавие киевской династии, и тогда же родилась идея единства Русской земли, идея единства русского языка. Киев стал вооруженным лагерем слагавшейся "империи Рюриковичей". Образование русского государства вовлекло отдельные русские племена в общую политическую жизнь. Под влиянием этого политического единения, живого общения между племенами, стирались их этнографическая и диалектальная обособленности. Несмотря на широкое географическое распространение восточнославянских племен, несмотря на то, что одни из них (восточные) втягивались в сферу хазарской культуры, другие (северные) занимали районы балтийской культуры, наконец, третьи (южные) оставались в сфере культуры византийской и черноморской, – культурное единение восточнославянских земель, вовлеченных в "империю Рюриковичей", укрепило их языковые связи и определило надолго общность их языковой жизни.

Можно предполагать, что начатки восточнославянской письменности предшествовали возвышению Киева как политического и культурно-просветительского центра. Однако Киев, сделавшись самым обширным городом Европы (по свидетельству Титмара, 1019), соперником Царьграду (по словам Адама Бременского), стал центром восточнославянской культуры и колыбелью общерусского языка. В этом международном городе вырабатывался "общий" язык восточнославянской империи, своеобразное "койнэ", в котором стирались и умерялись резкие диалектальные особенности разных восточнославянских племен. В основе языка Киева лежала речь южнорусских славян, но этот городской язык, выполнявший сложные культурно-политические и образовательные функции, подверженный международным влияниям и отражавший разнообразие культурной жизни высших классов, был отличен от речи сельских жителей земли полян не только по словарю, но и по звуковым особенностям. В нем было много иноязычных элементов, культурных, общественно-политических, профессиональных и торговых терминов. Он включал в себя слова разных славянских диалектов.

Язык Киева влиял на язык других городских центров. "Городские слои Новгорода, Ростова, Смоленска и других городов под влиянием прибывших с юга княжеских дружинников, княжеских тиунов, торговых людей и духовенства могли сглаживать те или иные областные особенности своей речи", усваивая русский язык (А. А. Шахматов)². За городом должна была идти и деревня.

Объединяющая роль языка Киева сказалась в истории русского языка XI-XII вв. и даже начала XIII в. Академик А. А. Шахматов приписывал влиянию государственного единства значительную общность языковой жизни древней Руси XI-XIII вв., несмотря даже на развивающуюся с конца XI – начала XII в. тенденцию к феодальному обособлению отдельных политических организаций. Объединяющее влияние сложившегося в Киеве общерусского языка можно видеть в тех общих явлениях, преимущественно лексических и морфологических, но также и звуковых, которые охватили все говоры русские в такую эпоху, когда отдельные ветви восточных славян уже значительно обособились, расселившись на огромном пространстве Восточной Европы. К числу таких общих явлений относятся: падение глухих (ъ, ь) и переход их в *o* и *e*; утрата беспредложного употребления местного падежа имен существительных; замена формы им. пад. формой вин. пад. в именах м. рода (кроме названий лиц), а во мн. числе и в именах ж. рода; смешение твердого и мягкого склонения существительных; утрата двойств. числа; утрата в народных говорах форм имперфекта и аориста, утрата достигательного наклонения и т.п.³

<...> Не подлежит сомнению, что образовавшийся в главном культурном центре древней Руси, в Киеве, тип общего русского языка был устойчивее и определеннее в самом Киеве, чем в зависимых городах, например таких, как Новгород, Галич или Смоленск. Язык центра более крепко оберегал свои орфографические и грамматические нормы. В областных государствах диалектальные черты выступали свободнее и резче.

До середины XII в. центростремительные тенденции в речи восточного славянства, поддержанные образованием "империи Рюриковичей" и мощным влиянием киевского политического центра, мешали резкому обособлению отдельных феодально-областных языков. Но с конца XI в. распад "империи Рюриковичей" и рост феодальной раздробленности ведут к углублению различий между южнорусскими и севернорусскими говорами. Процессом, в котором это языковое дробление восточного славянства на отдельные ветви сказалось чрезвычайно ярко, было так называемое падение глухих (ъ и ь), протекавшее со второй половины XII в. Исчезновение слабых глухих повело к переходу сильных в гласные полного образования; позднее всего произошло прояснение глухих в сочетаниях с плавными. В южнорусском языке "падение глухих" завершилось во второй половине XII в. (ср. удлинение *e* в слогe перед выпавшими *ъ* и *ь* в Добриловом евангелии 1164 г.), в севернорусском – в половине XIII в. (ср. сохранение *ьр*, *ьр*, *ьл* в Милятином евангелии 1215 г.). Следствия

этого процесса обнаруживаются различно для южнорусского и севернорусского наречий [ср.: 1) разную судьбу сочетаний *рѣ, рь, ль, ль* между согласными, 2) различную судьбу звонких согласных, за которыми исчезали глухие; 3) разную историю *о, е* в слоге перед выпавшим полукратким; 4) сильное развитие "второго полногласия" в севернорусском и другие последствия "падения глухих", неодинаково протекавшие на севере и юге древнерусской территории]. Образование феодально-областных государственных языков привело к новой группировке восточнославянских наречий, которая затем, в зависимости от политической судьбы разных отдельных феодальных объединений, завершилась возникновением трех национальных языков – великорусского, украинского и белорусского.

Феодально-областными изменениями в составе и структуре восточнославянских языков создавалась база для последующего схождения местных наречий в национальные языки.

В XII в. уже очень рельефно сказывается в памятниках это феодально-территориальное обособление восточнославянских говоров. Так, рукописи, появившиеся в Галицко-Волынском княжестве, со второй половины XII в. отражают новое правописание, явно противопоставленное киевскому и приспособленное к местным особенностям живой речи (например, своеобразное употребление **ѣ** на месте долгого *е*, *жч* и др.). Возникновение нового правописания в Галиче свидетельствует о том, что Галицко-Волынское княжество стремится стать независимым от киевского центра даже в таких вещах, как правописание. Эта тенденция сказывается и своеобразии литературно-художественного стиля, развивавшегося в Галицко-Волынской области.

<...> Различия языка, например, Новгорода и Рязани состояли не только в фонетических и морфологических особенностях (ср. отражение аканья в рязанских памятниках, формы род. пад. местоим. *мене, тебе, себе*; смешение **ѣ** и *и* в новгородских памятниках; в них же смешение формы род. и дат.-местн. пад. от слов женского рода на *-а*; формы местн. пад. на *и* от твердых мужских основ и т.д.), но и в своеобразиях словаря. Так, для новгородских деловых памятников характерны заимствованные из Западной Европы термины мореплавания и судоходства: *шкипер, буса, ребела* и т.п.; названия мер: *ласт, берковеск*, и др. под. <...>.

Язык Псковской области характеризуется целым рядом шепелявых звуков (обнаруживающихся в смешении *ч — ц, ш — с, ж — з*, иногда *щ* вместо *шц*), своеобразными изменениями в произношении конечных *е* и *а*, севернорусским *жч*, а позднее целой группой явлений, отражающих белорусское влияние на язык древнего Пскова: твердым *р*, аканьем, меной *у* и *в*, заменой *ѣ* через *х* и др. История Псковской земли объясняет

все разнообразие ее говоров: здесь происходила борьба новгородского влияния с влиянием Литовско-русского государства.

<...> Образование крупных феодальных государств немало содействовало взаимному сближению и слиянию в один народ нескольких политико-экономических, этнографических и лингвистических единиц. В период роста национальной концентрации великорусов около Ростова, Суздаля, Владимира, затем Москвы по окраинам Великоруссии находились сложившиеся крупные политические организации, почти независимые от среднерусского центра: великие княжества Тверское, Рязанское, Нижегородское, а на северо-западе — "народоправства" Великого Новгорода и Пскова, автономные во внутренних делах.

Колыбелью великорусской народности была область Ростово-Суздальская, из которой выросло Московское государство. В течение двух столетий — со второй четверти XIV, кончая первой четвертью XVI в. — Москва объединила все области, занятые севернорусами, и восточную половину среднерусских княжеств.

Москва находилась в центре великорусской территории на стыке разных диалектальных групп. На юге и западе от Москвы в непосредственном соседстве с городом простирались южновеликорусские поселения, на севере и востоке — северновеликорусские. Этнографический состав самого московского населения был пестр и разнороден. При начале политического роста Москвы в ней разные слои общества говорили по-разному, одни — по-северновеликорусски, другие — акали. Академик А. А. Шахматов высказал предположение, что высшие классы Москвы в XIV-XV вв. пользовались преимущественно севернорусским наречием. "Московская культурная жизнь преемственно была связана с севернорусскими центрами; боярство, духовенство, дьяки потянулись в Москву из Владимира, Ростова, Суздаля, Переяславля и других старших городов" /4/. Но ни в XIV, ни в XV в. Москва не могла еще выработать своего языка, создать "койнэ", общегосударственный язык. Диалектальные различия русского языка все еще расценивались как равноправные, несмотря на быстрый рост влияния государственного языка Москвы.

<...> С половины XVI в. язык Москвы подвергается (по-видимому, в связи с социальными переворотами времен Ивана IV) сильному влиянию акающих говоров и воспринимает основные черты южновеликорусского вокализма. Язык высших слоев московского общества теряет ряд особенностей, восходивших к государственному языку старых великодержавных центров Северо-Восточной Руси (Ростова, Суздаля, Владимира), например, оканье, употребление им. пад. в функции винительного при инфинитиве (ср. *шутка сказать*) и др.

В московском языке XVI в. развиваются новые фонетические и морфологические явления, которые свидетельствуют об усиливающемся влиянии южновеликорусской народной стихии на складывающийся общий язык великорусской народности. Таковы: переход имен на *-ко* и *-ло* (*Степанко, Михайло, Данило, запевало*) в категорию личных слов на *-а*; проникновение безударных окончаний *-ы, -и* в им. пад. мн. ч. слов ср. рода; распространение женских окончаний дат, тв. и предл. пад. мн.ч. — *ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях)* в других типах склонения и др.

<...> Процесс вытеснения письменных территориальных диалектов московским приказным языком, претендовавшим на значение общенациональной русской нормы, завершается в XVII в.

¹ Виноградов В. В. Основные этапы истории русского языка. — Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, с. 10—64. Впервые — в журнале "Русский язык в школе". 1940, № 3, 4, 5.

² Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Т. I. Пг., 1916. С. 84.

³ Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. Изд. 4. М., 1941. С. 65.

О. Н. Трубачев

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН¹

Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического этногенеза славян — вопросу старому и неизменно актуальному. Тема судеб славянских индоевропейцев не может не быть широка и сложна, и она слишком велика для одного вынужденно краткого очерка, поэтому необходимо заранее отказаться от подробного и равномерного освещения, сообщив лишь некоторые наиболее, как мне представляется, интересные результаты и наблюдения, главным образом из новых этимологических исследований слов и имен собственных, перед которыми поставлена высшая цель — комбинации и реконструкции моментов внешней языковой и этнической истории.

<...> Надежная реконструкция слов и значений — путь к реконструкции культуры во всех ее проявлениях. Почему славяне заменили индоевропейское название бороны новым словом? Как сложилось обозначение действия "платить" у древних славян? Что следует думать относительно ситуации "славяне и море"? Как образовалось название корабля у славян? На эти и многие другие вопросы мы уже знаем ответы (к вопросу о море мы еще обратимся далее). Однако многие слова по-прежнему неясны, другие вообще вышли из употребления, забыты, в лучшем случае сохраняются на ономастическом уровне. Отсюда наш острый интерес

к ономастическим материалам ..., которые углубляют наши знания древней славянской апеллативной лексики и дают пищу для рассмотрения новых принципиальных вопросов по ономастике, например, о славянском топонимическом наддиалекте, о существовании славянских генуинных гидронимов, т.е. таких, у которых апеллативная стадия отсутствует.

Наконец, древний ареал обитания, прародину славян тоже нельзя выявить без изучения этимологии и ономастики. Как решается этот вопрос? Есть прямолинейные пути (найти территорию, где много или все топонимы-гидронимы чисто славянские) и есть также, должны быть, более тонкие, более совершенные пути. Что происходило с запасом лексики и ономастики, когда мигрировал древний этнос? Называл ли он только то, что видел и знал сам? Но словарь народа превосходит действительный (актуальный) опыт народа, а значит, он хранит еще не только свой древний петрифицированный опыт, но также и чужой, услышанный опыт. Это тоже резерв нашего исследования. Славянская письменность начинается исторически поздно – с IX в. Но славянское слово или имя, в том числе отраженное в чужом языке, – это тоже запись без письменности, меморизация. Например, личное имя короля антов *rex Voz* у Иордана (обычно читают *Бож* «божий») отражает раннеславянское ...*vož, русск. народн. *вож* (калька *rex = вож*), книжн. *вождь*, уже в IV в. с проведенной палатализацией, слово вполне современного вида.

Славяне и Дунай

Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли и далее на юг? Союзом с аварами? Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок к ним дали устойчивые предания о древнем проживании по Дунаю? Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реконквисты, обратного завоевания, правда, в силу благоприятной конъюнктуры и увлекающегося нрава славян, несколько вышедшего из берегов... Чем иным, как не памятью о былом житье на Дунае, отдают, например, старые песни о Дунае у восточных славян – народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае ... не живших и в раннесредневековые балканские походы не ходивших. Если упорно сопротивляться принятию этого допущения, то можно весьма затруднить себе весь дальнейший ход рассуждений, как это случилось с К. Мошинским, который, слишком строго понимая собственную концепцию среднеднепровской прародины славян, пришел даже к утверждению, что в русских былинах Дунаем назывался Днепр... Ненужное и неестественное предположение. Еще более трудным оказы-

вается положение тех ученых, которые с Лер-Сплавинским пытаются доказать, что у славян был широко распространен первоначально не гидроним *Dunaj*, а апеллатив *dunaj* «лужа», «море»... В последние годы эту неудачную этимологию повторил Ю. Удольф. Заметим, что все трое ученых ищут прародину славян в разных местах: Лер-Сплавинский – в междуречье Одера и Вислы, Мошинский – в Среднем Поднепровье, а Удольф – в Прикарпатье. Их объединяет, пожалуй, лишь стремление опровергнуть древнее знакомство славян с Дунаем – гидронимом и рекой, настойчиво подсказываемое языком. А стоило, наверное, прислушаться к голосу языка.

"Прародина" - "взятие родины"

Термин "прародина" крайне неудачен и обременен биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути. <...>. Отсюда можно заключить, что если у человека родина – одна, то и у народа, языка – одна прародина. Однако небольшой типологической аналогии достаточно, чтобы задуматься всерьез над другой возможностью. Пример – венгры, у которых родин или прародин было несколько: приуральская, где они сформировались и выделялись из угорской ветви, северокавказская, где они общались с тюрками-булгарами, южноукраинская, где начался их симбиоз с аланами, и, наконец, "взятие родины" на Дунае – венг. *honfoglalás*, нем. *Landnahme*, термин, кстати, очень деловой и весьма адекватный, не содержащий иллюзию изначальности, которая неизбежно присутствует в слове *п р а р о д и н а*. <...> Четкой памяти о занятии родины у славян не сохранилось, о чем, с одной стороны, можно пожалеть, имея в виду доказанную эффектную траекторию древних венгров из Приуралья на Дунай и память о ней, а с другой стороны – нужно научиться правильно интерпретировать сам факт отсутствия памяти о приходе славян издалека. Ведь существуют примеры тысячелетней памяти о ярких событиях в жизни народа (в первую очередь – об этнических миграциях) даже в условиях полного отсутствия письменности. Отсутствие памяти о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких пределах.

Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время надо считать законченным (исчерпавшим себя) предыдущий период или направление прямолинейных исканий прародины славян, когда с усилением темпа миграции прямо ассоциировали ускорение изменений языка и лексики, когда исходный характер этнической области старались обосновать, всеми силами доказывая славянскую принадлежность ее (макро)-

гидронимии или обязательное наличие в ней "чисто славянской топонимики", будь то висло-одерская с постепенным расширением в одерско-днепровскую, или правобережно-среднеднепровская, или припятско-полесская.

Первоначально ограниченная территория?

<...> Верно замечено, что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином "Keimzelle", буквально "зародышевая клетка", что совсем уводит нас в биологию развития) – это пережиток теории родословного древа. Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще с фактом существования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом – со смешанным характером заселения древней Европы, далее – с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории. Вспомним поучительный пример прохода венгров в IX в. сквозь восточнославянские земли уже в эпоху Киевского государства. Отдельность этноса не исключала его дисперсности², а для древней поры просто обязательно предполагала ее.

Когда появился праславянский язык?

Решать или во всяком случае поставить вопрос, когда появился праславянский язык, наиболее склонны были те лингвисты, которые связывали его появление с выделением из балто-славянского единства, приурочивая это событие к кануну новой эры или за несколько столетий до него. <...> В настоящее время отмечается объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том, что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н. э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать "появление" или "выделение" праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского. Последнее убеждение согласуется с указанием Мейе о том, что славянский – это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений в отличие, например, от греческого (словаря)³. <...>

Праславяне на Дунае

С концепцией центральноевропейского ареала древних индоевропейцев связана и теория дунайской прародины славян, как она традици-

онно называлась и по распространенному мнению отвергалась наукой нового времени. Между тем заложенное в ней рациональное ядро дает право возвратиться сейчас к рассмотрению ее фактической возможности и к исторической увязке с другими разновременными ареалами обитания славян. Дунайская теория, впрочем, никогда не утрачивала полностью своей привлекательности, и голоса в пользу ее реабилитации раздавались и прежде, и недавно в нашей литературе, но это были, например, выступления этнографов, слабо или просто недоброкачественно обоснованные лингвистически. <...>

Славяне восточные, западные, южные

О восточных славянах справедливо сказано (Б. А. Рыбаков), что для них история начиналась на юге. В самом начале мы уже говорили о народной памяти о Дунае, все еще живущей среди восточных славян. Конечно, вопрос о древнем среднеднепровском ареале славян продолжает стоять и сохраняет свое значение, особенно как исходный ареал для дальнейшего развития собственно восточного славянства. Единственное, на чем, видимо, не следует настаивать, – это (в свете изложенного выше) на его четкой отграниченности и универсальности для всех времен и всех славян. Не исключено, что для каких-то предшествующих периодов ... среднеднепровский ареал славян был лишь частью (периферией) более крупного, иначе локализованного пространства (ср. указание антропологии на высокий процент средиземноморского типа у восточных славян, как, впрочем, и в Польше). <...>

Самоназвание и самосознание

При всем множестве вопросов, встающих перед языкознанием, когда оно поднимает проблему этногенеза славян, главнейшие из них, бесспорно, – те, которые интересуют не одних только лингвистов, но и самую широкую общественность, имея в виду прежде всего сами славянские народы, для которых, для их нынешнего национального самосознания небезразлично, откуда – в глубокой древности – появились и кто такие первоначально были славяне.

И хотя все согласны в том, что эти вопросы из истории явления требуют ответов в историческом духе, все же случается, что при этом картину исторической эволюции подменяют исторической тавтологией, а реконструкцию отношений неоправданной транспозицией, переносом нынешних отношений в исследуемое прошлое. Тогда искомое – история явления – остается нераскрытым, поэтому, как и прежде, важно различать между историзмом фактическим и декларативным. Последователь-

ный историзм помогает понять, что многие самоочевидные современные явления не изначальны, но занимают лишь свое место в исторической эволюции.

Так, привычное деление славян (и их языков) на восточных, западных и южных – лишь продукт длительной и непрямой переупорядки более древних племен и их диалектов. Иордан (VI в.) знает славян под тремя именами – венедов, склавен и антов. <...>. Но на самом деле было иначе. Ни венеды, ни анты не были никогда с а м о н а з в а н и я м и славян и первоначально обозначали другие народы на славянских перифериях (венеды /венеты – на северо-западе, анты – на юго-востоке) и лишь вторично были перенесены на славян в языках третьих народов (*венеды* – в языках германцев, *анты* – в языках индоиранских этносов Юго-Востока). Другое дело – *склавины* Иордана (в византийской традиции – *склавины*, современное русское *славяне* и т.д.), общее самоназвание славянских племен и народов. Таким образом, большое значение имеет проблематика древнего самоназвания (а через его посредство и самосознания), проблематика в сущности лингвистическая.

О том, что в этой области остается преодолеть еще немало устоявшихся прямолинейных воззрений, мешающих правильному видению проблемы, мы уже писали в предыдущих частях своей серии по этногенезу. <...> Дальнейшим научным мифом оказывается принимаемое отдельными этнологами и этнографами и по сей день обязательное одновременное появление этноса и этнонима. Здесь мы вступаем в область общих этноисторических категорий, которые затрагивают не одних только славян. Приходится настойчиво напоминать, что этноним – категория историческая, как и сам этнос, что появляется он не сразу, чему предшествует длительный период, когда народ, племя в сущности себя никак не называют, прибегая к нарицательной самоидентификации "мы", "свои", "наши", "люди (вообще)". Кстати, такая идентификация очень удобна и применима как оппозитивная в случаях типа "свои" – "чужие". Что касается "своих", то можно, как известно, привести ряд примеров, когда этнонимы обнаруживают именно эту этимологическую внутреннюю форму: *шведы (свеи)*, *швабы (свебы)*. Чужих, иноплеменных оказалось удобным и естественным обозначать как "невнятно бормочущих", а также – с некоторым преувеличением – как "немых". Ясно в таком случае, что "своих" объединяла в первую очередь взаимопонятность речи, откуда правильная и едва ли не самая старая этимология имени *славяне* – от *слыть*, *слову /слыву* в значении «слышаться, быть понятным».

Концентричность культурных и языковых ареалов в Центральной Европе

<...> Мы возвращаемся, таким образом, к идее концентричности древнейшего славянского и индоевропейского ареалов – идее, которая уже не раз возникала в этой продолжающейся серии и которая, как кажется, наиболее адекватно соотносится с лингвистической аргументацией. <...>

Однако мне не хотелось бы понятым только в том смысле, что меня единственно заботит полное одоление висло-одерской концепции прародины славян. <...> Поэтому целесообразно внимательно присмотреться к тому, что не только не вызывает противоречий, но и может быть плодотворно развито: это южный фланг висло-одерского ареала, который приблизительно совпадает с северной периферией среднедунайского славянского ареала по нашей концепции. Уже на киевском съезде славистов в 1983 году в дискуссии было высказано мнение, что наиболее проблематичен – в понимании сторонников висло-одерской теории – как раз южный фланг этого ареала, т. е. он как бы открыт и допускает ту или иную коррекцию. Надеюсь, я не очень удивлю читателя, если предложу одну такую кардинальную коррекцию в духе всего того, что уже высказано мной в нынешней серии по этногенезу, а также в итоге длительного изучения трудов польской автохтонистской школы: примирение висло-одерской и дунайской теорий древнейшего славянского ареала возможно, если гипотетический висло-одерский праславянский ареал как бы "осадить" по широтной шкале к Югу, не меняя его меридиональных параметров, которые у него фактически оказываются близкими к аналогичным параметрам дунайского ареала славян, разрабатываемого выше. <...>

¹ Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. – Вопросы языкознания, 1982 №4, с. 10–26; №5, с. 3–17; 1984 №2, с. 15–30, №3, 18–29; 1985 №4, с. 3–17; №5, с. 3–14.

² Королюк В. Д. К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев. – В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 19.

³ Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 14, 38, 395.

Ф. П. Филин

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ¹

О прародине славян, распаде общеславянского языка и образовании языка восточных славян

<...> Сравнительно-историческое исследование славянских языков позволяет реконструировать древний общеславянский язык как реальную лингвистическую единицу, существовавшую в течение многих веков и прекратившую свое существование примерно в VI-VII вв. н.э. <...>

Закономерные фонетические, фонологические, грамматические и лексические соответствия между известными нам славянскими языками могут быть объяснены только при предположении происхождения славянских языков от одного общего для них языка-предка. Этот язык, который мы называем общеславянским, уже восстановлен во всех существенных чертах (менее всего поддается реконструкции общеславянский синтаксис и лексическая семантика) и оказывается довольно близким к языку дошедших до нас славянских письменных памятников X-XI вв. Начинают проясняться этапы развития общеславянского языка. Разумеется, в объяснениях происхождения общеславянской языковой системы, постоянно возникавших инноваций и их хронологической последовательности многое еще остается спорным и нерешенным, но общий облик общеславянского языка известен. Древние исторические сведения о славянах (прежде всего греческих и римских авторов) представляют их как группу родственных племен. Сознание своего родства и общности своего происхождения до сих пор сохраняется у всех славянских народов и не только в книжных источниках или под воздействием литературы. Конечно, общеславянский язык никогда не был монолитной системой, исключавшей диалектное деление. Древние славянские племена были многочисленны, постоянно соседили и сталкивались с иноязычными племенами, меняли места своего жительства, испытывали сложные общественные переустройства и т. д., т. е. переживали длительную историю. Все это не могло не отражаться на их языке. Общеславянский язык с самого начала своего существования состоял из близкородственных диалектов или диалектных зон, состав которых и отношения между которыми должны были постоянно изменяться. Не исключено, что в процессе выделения общеславянского языка из балтославянской лингвистической зоны (или иных зон) в общеславянском единстве оказались генетически

разные диалекты. Не каждая диалектная особенность обязательно моложе языковой основы, к которой она относится. К сожалению, древнее диалектное членение общеславянского языка остается пока областью неизведанного. Диалектные зоны, доступные современным методам исследования, относятся к позднему общеславянскому периоду.

Если реальность существования общеславянского языка несомненна и основные особенности его структуры нам известны, то гораздо хуже обстоит дело с определением территории его носителей и абсолютной хронологией его развития, с тем, что носит название славянского этно- и глоттогенеза. Методы реконструкции общеславянского языка (как и любого другого языка) позволяют восстановить его систему, тенденции развития этой системы, этапы ее истории, обнаруживать «действующий языковой механизм», но сами по себе они не дают (или почти не дают) никаких прямых свидетельств о пространственных и временных "координатах" реконструируемого языка, о жизни его творцов и носителей. Между тем задачи историка-языковеда могут считаться выполненными только тогда, когда раскрыт не только механизм языковых изменений, но и условия, в которых эти изменения происходили и которыми они в конечном счете были вызваны, когда за языковыми явлениями открывается история общества, жизнь ушедших поколений.

Историческое языкознание дает косвенные свидетельства о пространственно-временных условиях жизни языка, когда об этом нет никаких письменных данных (или такие данные очень скудны и неопределенны). Начало развития общеславянского языка и истории его носителей не поддается определению <...>.

Что касается славянской прародины незадолго до широкого расселения праславянских племен и распада общеславянского языка, то в современной науке существует две основные противостоящие друг другу гипотезы: висло-одерская и среднеднепровская.

Висло-одерская гипотеза была выдвинута польскими учеными (археологами, лингвистами, этнографами, историками), поддерживается и развивается в настоящее время в Польше и в некоторых других странах². Согласно этой гипотезе, древнейшие славяне сформировались как самостоятельная этноязыковая единица между Вислой и Одером, причем начало их формирования хронологически остается неопределенным (указываются различные приблизительные даты). Примерно в первых веках н.э. (или около этого) из районов современной Польши начинается расселение славянских племен на юг (через Карпаты и Венгерскую низменность к Дунаю и на Балканы), на восток (к Днепру и далее) и отчасти на запад. Широкое расселение славян вызвало распад их древних диалектов,

сложившихся еще на прародине, на самостоятельные этноязыковые единства и положило начало исторически известным славянским народам и языкам. Висло-одерская гипотеза называется польскими исследователями еще автохтонной, поскольку ими предполагается, что исконно славянскими землями являются только области современной Польши. Точнее ее следовало бы называть "польско-автохтонной" гипотезой (с точки зрения всех остальных славян).

Среднеднепровская гипотеза была выдвинута еще в прошлом столетии, поддерживалась и развивалась такими крупными славистами, как Л. Нидерле, М. Фасмер, К. Мошинский и другие. Эта гипотеза представляется наиболее вероятной. Древнеславянские племена в последние века н. э. и в начале н. э. занимали территорию приблизительно между Западным Бугом и средним течением Днепра. На севере их примерной границей была р. Припять, на юге их землями были правобережные лесостепные районы. Иными словами, прародиной славян указанного времени были современные южная Белоруссия и северная (на запад от Днепра) Украина. Какое очертание имела славянская прародина в более древние эпохи, определить трудно <...>

<...> В первые века н. э. древняя славянская территория значительно расширяется. Серьезные изменения происходят в ней в эпохи "великого переселения народов". Бесспорные исторические свидетельства о славянах повествуют о том, что они занимали уже огромные пространства. Как известно, в VI в. н. э. славяне колонизируют Балканский полуостров. На западе к VIII-IX вв. они достигают Эльбы и пересекают ее. На востоке перед образованием древнекиевского государства славянские племена оказываются на Волхове и у Чудского озера, в междуречье Оки и Волги, вероятно, и на Дону. То, что мы достоверно знаем об их расселении, совершенно не совпадает с той территорией, которую они занимали тысячелетием раньше. Поэтому-то наши предположения об их ранней прародине, основывающиеся на косвенных свидетельствах, могут быть только более или менее правдоподобными рабочими гипотезами. Самой правдоподобной, с нашей точки зрения, является гипотеза о среднеднепровско-западнобужской прародине славян.

Общеславянский язык представлял собою систему близкородственных диалектов, вероятно соответствовавших древним племенам и племенным группировкам. Позднейшие бесчисленные изменения границ диалектных зон настолько изменили славянскую лингвистическую географию, что мы пока не можем восстановить древнейшее диалектное членение общеславянского языка, которое несомненно существовало. <...> Разумеется, в первые века н. э. не было еще ни южных, ни запад-

ных, ни восточных славян в современном смысле этого слова, ни тем более словенцев, сербохорватов, болгар и македонцев. Древнейшее диалектное членение общеславянского языка для нас является еще искомым неизвестным. <...> Во всяком случае то, что нам становится известным в этой области, свидетельствует о том, что границы древних диалектных зон, как правило, не совпадают с современными внутриславянскими лингвистическими границами. Намечаются своеобразные диалектные зоны. <...> Границы этих зон неоднократно изменялись, что приводило к наплаиванию одних изоглосс на другие. Среди древних, доступных современному языкознанию изоглосс особо выделяются лингвистические границы, которые делили славянскую языковую область на две противопоставленные зоны, с промежуточными переходными территориями между ними (ср. судьбу сочетаний **kv-*, **gv-*, **chv-* в определенном положении, **tl*, **dl*, *s* из *ch*, образовавшегося в результате второй палатализации заднеязычных, сочетаний **pj*, **bj*, **mj*, **vj*, начального **je-* и некоторых других фонетических форм, некоторых морфологических явлений, довольно многочисленных лексических расхождений и др.). Как уже было сказано, архаические границы этого диалектного ряда обычно не совпадают с границами современных славянских языковых групп. Локальные инновации, объединившие древние диалекты в современные этноязыковые группы раннего их состояния, возникают позже, примерно с VII в. н. э. В частности, в VIII-IX вв. образуется язык восточных славян, о существовании которого в более раннее время говорить нет оснований.

Вместе с развитием диалектных различий и возникновением самостоятельных славянских языков происходит постепенный распад древнего общеславянского языка, породившего эти языки. Что было причиной распада общеславянского языка и что значит самостоятельные славянские языки? Лингвисты всегда стремятся выяснить самый механизм изменений языковой системы, что вполне закономерно. На попытки выяснить собственно лингвистические причины распада общеславянского языка потрачено много усилий и предложено немало схем и гипотез. Например, Л. Мошинский в статье с характерным названием «Причины распада праславянской языковой системы»³ считает, что распад этой системы вызван прежде всего следующими тенденциями: 1) редуцией кратких высоких гласных, 2) законом открытых слогов и монофтонгизацией дифтонгов, 3) ассимиляцией гласных и согласных по мягкости.

Однако установление фонетико-фонологических и иных собственно языковых закономерностей и тенденций еще не дает ответа на вопрос о причинах языковых изменений. Известно, что многие языковые изменения вызваны так называемым внешним воздействием (влиянием других

языков и диалектов, переменами в структуре общества и т.п.). Многие другие изменения заложены в особенностях самой языковой системы, и какой-либо видимой связи между ними и внешними обстоятельствами не наблюдается. Впрочем, и в этом случае у нас никогда не может быть уверенности в том, что здесь не было никаких внешних толчков: методы обнаружения связей между языковыми изменениями и жизнью общества еще далеки от совершенства. А многое из этой области, относящееся к прошлому, по-видимому, и навсегда потеряно для науки. И все же историк языка, который стремится познать языковое прошлое в его плоти и крови и не собирается ограничиваться абстрактными схемами и моделями, не может не ставить вопрос о действительных причинах языковых изменений. Для диахронического языкознания язык — это система и не система. Наряду с устойчивыми статическими связями, создающими и поддерживающими систему, в нем всегда имеются связи динамические, которые разрушают эту систему. В жизни языка бывают периоды, когда динамические связи усиливаются, что приводит к распаду языковой системы.

Общеславянский язык существовал много столетий, в течение которых не оставался неизменным. Усвоенное им древнее индоевропейское наследство постоянно видоизменялось, что, однако, не приводило его к распаду. И вот наступает время, когда он перестает существовать. Решающей причиной этого события, столь важного в истории славян, были, конечно, внешние обстоятельства. В VI-VII вв. н. э. славянские племена расселились на огромных пространствах от Ильменя на севере до Греции на юге, от Оки на востоке до Эльбы на западе. Они оказались в разных природных и культурных условиях, вступили в контакты с племенами и народностями разного происхождения и неодинакового уровня развития, хозяйственные и иные связи между отдельными племенными союзами давно уже были нарушены. Славяне не имели в то время письменности и общего стандартизованного языка современного типа, который мог бы подавлять растущие диалектные расхождения. Та или иная языковая тенденция может реализоваться и не реализоваться, а также реализация ее может пойти неодинаковыми путями. Отношения между славянскими диалектами древней эпохи были не иерархически подчиненными, а равноправными. В условиях наступившей разобщенности реализации различных языковых тенденций стали неодинаковыми, имели не всеобщий, а локальный характер. Прекращение всеобщих изменений с одинаковыми результатами и есть конец существования языка. В VIII-IX вв. и позже рефлексy сочетаний типа **tort*, **tʁrt*, **tj*, **dj* и **kt*, деназализация и ряд других изменений фонетической системы, некото-

рые грамматические инновации, сдвиги в области лексики образовали особую зону на востоке славянского мира с более или менее совпадающими границами. Эта зона и составила язык восточных славян, или древнерусский язык. Восточнославянский (древнерусский) язык, как и другие славянские языки, унаследовал от общеславянского языка фонетико-фонологическую, грамматическую и лексическую основу. В основном этим объясняется несомненная близость славянских языков и в наше время. Общность унаследованной базы обусловила некоторые общеславянские процессы, имевшие место в более позднюю эпоху. В X-XIII вв. во всех славянских языках произошло так называемое падение редуцированных ъ и ь (исчезновение их в слабых позициях и прояснение в гласные полного образования в сильных). На этом основании некоторые лингвисты выдвинули положение, будто бы общеславянский язык дожил до XII-XIII вв., как бы сосуществуя с появившимися уже древнеболгарским, древнерусским и другими отдельными славянскими языками. Это положение неверно. Изменение унаследованных от общеславянского языка ъ и ь в разных языках и диалектных группах дало совершенно различные результаты. Следовательно, имела место не общеславянская инновация, а осуществился ряд параллельных и независимых друг от друга процессов. Общим здесь был только "исходный общеславянский материал". Та или иная перестройка исходного общеславянского фонда происходила и в более позднее время на разных "уровнях" языка.

Общеславянский язык перестал существовать сравнительно незадолго до возникновения известных нам памятников славянской письменности. Восточнославянский (древнерусский) язык первоначально был бесписьменным языком, представлявшим собой ряд близкородственных диалектов. В него вошли и диалектные границы, пересекавшие когда-то территорию восточной части славянства. Иными словами, некоторые его диалектные особенности по своему происхождению древнее самого языка. На базе древних диалектных зон восточнославянского языка, постоянно видоизменявшихся, впоследствии складываются современные восточнославянские языки: русский, украинский и белорусский. <...>

¹ Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.

² Из советских языковедов висло-одерскую гипотезу поддерживает В. В. Мартынов. См.: В. В. Мартынов. 1) Славяно-германские взаимодействия древнейшей поры. (К проблеме прародины славян). Минск, 1963; 2) Лингвистические методы обоснования гипотезы о висло-одерской прародине славян. Минск, 1963.

³ К. Moszynski. Przyczyny rozkladu prasłowiańskiego systemu językowego. Studia z Filologii Polskiej i słowiańskiej, t. 5. Warszawa, 1965, (сборник в честь профессора З. Штибера).

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА

Р. И. Аванесов

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ВОКАЛИЗМА ЗВУКИ *і* И *у*¹

Основной задачей исторической фонетики на современном этапе ее развития является не изучение истории отдельных явлений, а изучение самой фонетической системы, возникновения, развития и смены фонетических систем.

В статье рассматривается история звуков *у* и *і*, являвшихся в старшую пору двумя самостоятельными фонемами, а позднее функционально объединившихся в качестве разновидностей одной фонемы *і*. Эта функциональная перестройка была связана с рядом фонетических процессов и в первую очередь с развитием категории твердости-мягкости согласных, а также многими явлениями морфологическими, имевшими место в русском языке, начиная с доисторической поры до XV века.

§ 1. Языковые ценности каждой последующей эпохи — а к числу таких ценностей относятся, между прочим, фонемы — создаются в противоречивой борьбе ценностей предыдущей эпохи. Это редко бывает борьбой одного против всех; чаще это бывает борьба между отдельными организованными "отрядами", ибо звуковая сторона языка в каждую данную эпоху представляет собой организованную сложную иерархическую систему противопоставленных друг другу фонем. Правда, эта система всегда характеризуется в той или иной мере внутренними противоречиями, в ней нередко бывают более слабые звенья и даже изолированные явления-одиночки, представляющие собой остатки отмирающих явлений или ростки новых. В таких случаях и результаты борьбы, дальнейшего развития бывают весьма различны.

В процессе этого развития возникают и отмирают фонемы. Слабое положение, в котором выступают позиционные разновидности фонемы, в результате осуществления ряда фонетических и морфологических процессов и постепенного количественного накопления, может перерасти в качественно новое — в сильное положение, и тогда одна фонема расщепляется на две, каждая из которых взаимно все более отталкивается от другой. Другие фонемы, наоборот, сближаются и нередко в дальнейшем совершенно объединяются в одну фонему позднейшей эпохи, причем это

бывает обычно связано не только с изменениями самих фонем, но в значительной мере также с другими изменениями во всей системе языка.

Фонетические процессы, изменения физиологического порядка вносят "беспорядок", "хаос" в систему фонем. Постепенно подрывают ее также заимствованные слова, разного рода аналогические образования, самое появление которых нередко свидетельствует о прекращении действия тех или иных фонетических процессов. Однако созидательная работа не прекращается ни на миг: проходит известное время — создаются новые соотношения, рождается новый "порядок", новая фонетическая система.

Основными "героями" исторической фонетики у нас до сих пор являются фонетические "индивиды". Отсюда и основные главы исторической фонетики русского языка — история носовых, история редуцированных, история **ѣ** и т. д. Между тем ее главным "героем" должна стать сама фонетическая система, а ее основной задачей — изучение эволюции фонетической системы, возникновения, развития и смены фонетических систем на почве того или иного языка или группы языков.

<...> В фонетической системе современного русского языка, одной из существеннейших черт которой является различие парных твердых и мягких согласных фонем, звуки *i* и *y* являются разновидностями одной фонемы. Их принадлежность к одной фонеме определяется невозможностью употребления *i* и *y* в тождественных фонетических положениях, их чередованием в определенных р а з н ы х фонетических положениях, наконец, их морфологической эквивалентностью, иначе — морфологическим тождеством.

В самом деле, звуки *i* и *y* взаимно исключаются в тождественной позиции (*i* произносится: после мягких согласных, после звуков *k*, *g*, *ch*, приобретающих позиционную мягкость, в начале слова; *y* произносится только после твердых согласных) и чередуются друг с другом, как бы взаимно замещая, в разных позициях (ср. *iskàt'* — *syskàt'*, *izbà* — *v-yzbu*, *ivàn* — *s-uvànъm* и др.). Морфологическая эквивалентность *i* и *y* сказывается в том, что, составляя флексию или начиная собой флексию, эти звуки образуют или начинают собой флексии, морфологически тождественные, причем наличие в них звука *i* или *y* определяется только фонетически — мягкостью или твердостью конечной согласной основы (ср. *p'ily* — *z'eml'i*, *stony* — *kón'i*, *t'omnych* — *s'in'ich*, *raznum* — *poz'n'im* и т.д.).

Наличие звука *y* целиком обусловлено положением после твердой согласной. Наличие же звука *i* не связано с положением после согласной: звук *i* (в противоположность *y*) употребляется также в абсолютном начале слова (ср. *iskra*, *izba*, *igra* и др.). Это дает возможность квалифициро-

вать *i* как основной вид фонемы, а звук *y* в его различных оттенках как вариацию фонемы *i*. <...>.

§ 3. Описанное выше положение вещей, при котором *i* и *y* не различаются ни в одном фонетическом положении и являются разновидностями одной фонемы, не всегда существовало. Наоборот, некогда они различались во всех положениях и представляли собой две самостоятельные фонемы, каждая из которых была противопоставлена как всем другим гласным фонемам, так и друг другу. Отсюда и история звуков *i* и *y* есть прежде всего история их функционального объединения в одной фонеме. Процесс этот, многообразный и длительный, был связан с рядом фонетических процессов, общих и частных, и в связи с этим с рядом перестроек всей фонетической системы, а также с некоторыми морфологическими явлениями. Начавшись еще в доисторическую эпоху, он завершился неодновременно по разным русским говорам, но во всяком случае в течение XV в.

Рассмотрим основные этапы этого процесса.

<...>

Звуки *І* и *У* после согласных

§ 4. В эпоху до смягчения всех несмягченных согласных старшей поры перед гласными переднего образования — несмягченные согласные (*t*) употребляются перед всеми гласными, в том числе перед *i* и *y*, приобретая перед *i*, как и перед другими гласными переднего ряда, позиционную полумягкость (*t'*).

Наоборот, смягченные согласные (*t'*) не могли сочетаться с последующим любым гласным: они не могли употребляться перед *o*, *y*, *ъ*.

К смягченным согласным *r'*, *l'*, *n'*, а также *s'*, *z'* имелись соответствующие несмягченные *r*, *l*, *n*, а также *s*, *z*. К остальным несмягченным согласным соответствующих смягченных не было. Эти "парные"² согласные различались перед *a*, *u*, *e*, *ь*, *i*, *ě* (т. е. существовали слоги, например, *ra* — *r'a*, *ru* — *r'u*, *rb* — *r'b*, *ri* — *r'i* и др.), а также с большими ограничениями перед *ě* (например, *rě* — *r'ě*), так как *ě* после смягченных согласных — кроме свистящих — мог употребляться лишь в определенных флексиях (ср. дат.-местн. п. п. ед. ч. *v'erě* и род. п. ед. ч. *bur'ě*, *pèně* и *von'ě* и др. Наоборот, они не различались перед *o*, *y*, *ъ*: перед этими гласными известны только несмягченные согласные, так как *o*, *y*, *ъ* после смягченных согласных и *j* в более раннюю эпоху изменились соответственно в *e*, *i*, *ь*.

<...>

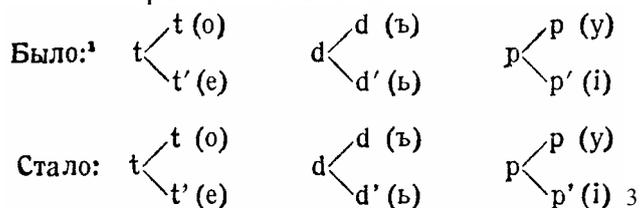
§ 5. Соотношения элементов фонетической системы существенным образом изменились, когда позиционно полумягкие согласные (т. е. несмягченные согласные в положении перед гласными переднего ряда) смягчились, т. е. когда образовались согласные "вторичного смягчения". Следует различать следующие группы согласных:

а) несмягченные согласные, к которым в старшую эпоху не было соответствующих смягченных (например, *t, d, p, b*);

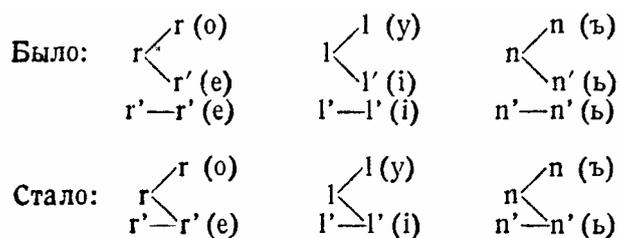
б) несмягченные согласные, к которым уже в старшую эпоху имелись соответствующие смягченные (например, *r, l, n*);

в) смягченные согласные, к которым вообще не было соответствующих несмягченных (например, *š, ž, c, č*).

В группе а) соотношения после смягчения полумягких не изменились: как раньше полумягкие (например, *t', d'*) являлись вариациями несмягченных фонем, так и после мягкие (например, *t, d*) явились вариациями тех же фонем, поскольку в старшую эпоху особых соответствующих мягких фонем не было.



Иная картина в группе б): после смягчения полумягких здесь изменились и самые соотношения, поскольку уже до осуществления этого процесса существовали соответствующие смягченные согласные фонемы.



Таким образом, оказалось, что со старыми смягченными согласными фонемами (например, *r', l'*) в определенных позиционных условиях стали совпадать разновидности несмягченных согласных фонем, явившиеся поэтому вариантами этих несмягченных согласных: когда-то, например, формы им. п. мн. ч. — от *konъ* и *kon'ь* различались: *kon'i* и *kon'i*; после смягчения полумягких они совпали в одном общем звучании: *kon'i*.

Это резко изменило положения, в которых различались "парные" несмягченные и смягченные согласные. Когда-то последние различались перед *a, u, e, ъ, i, ѓ*, но не различались перед *o, y, ь*, т. е. возможны были,

например, слоги *ra — r'a, ru — r'u, re — r'e, rь — r'ь, r i— r'i, rě — r'ě*, но только *ro, ry, rь*. После смягчения полумягких "парные" несмягченные согласные перестали различаться перед всеми гласными переднего ряда, продолжая различаться лишь перед *a, u*. В эту эпоху возможны слоги, например, *ra — r'a, ru — r'u*, но только *r'e, r'ь, r'i, r'ě* и только *ro, ry, rь*.

<...>

§ 6. Что представляла собой категория твердости и мягкости в эпоху после смягчения полумягких согласных и до падения редуцированных? На основании таких форм, как *кону* и *кон'и* (тв. п. мн. ч. от *конь* и *кон'ь*), можно, как будто, предположить, принимая во внимание морфологическую тождественность флексии, что *n* и *n'* являются разными фонемами, а *у* и *и* — разновидностями одной и той же. Но нельзя упускать из виду то, что форма им. п. мн. ч. от обоих этих слов совпадает в звучании: *кон'и*. Поэтому, отождествляя *у* и *и* в качестве разновидностей одной фонемы, следует признать, что форма им. п. мн. ч. от *конь* (*кон'и*) образована не только при помощи флексии *и — у* (причем после твердой согласной основы должен бы звучать звук *у*), но и при помощи "флексии основ", т. е. морфологического чередования твердого *n* с мягким. Но имеются ли все необходимые основания, по которым *n* и *n'* и вообще все твердые и мягкие пары согласных в рассматриваемую эпоху можно считать разными фонемами, какими они являются, например, в современном русском языке? Для положительного ответа на этот вопрос необходимо "оторвать", изолировать друг от друга мягкость или твердость согласных, с одной стороны, и качество последующей гласной, с другой. Но этого сделать нельзя, так как мягкие и твердые согласные в рассматриваемую эпоху употреблялись только перед гласными, и потому мягкость и твердость согласных была неразрывно связана с качеством следующей гласной.

<...>

В эту эпоху существуют "твердые" и "мягкие" слоги *ra — r'a, ru — r'u, ta — t'a*. При этом в такие же отношения вступают гласные *о* и *е, ь* и *ь, у* и *и* после согласных, поскольку первая гласная каждой пары употребляется только после твердой согласной, а вторая — после мягкой и поскольку в формальных элементах слова гласные этих пар могут образовывать морфологическое тождество. Так образуется следующая система "твердых" и "мягких" слогов: *ra — r'a, ru — r'u, ro — r'e, rь — r'ь, ry — r'i* и т. д.

Обратимся к *у — и*. Итак, в слогах типа *ту — t'i, ру — r'i* и т. д. нельзя признать *у* и *и* разными фонемами, так как нельзя изолировать их от твердости или мягкости предшествующей согласной, когда к тому же в начале слова произносится только *и*. Но и наоборот: нельзя еще признать

разными фонемами твердые или мягкие согласные, так как и их нельзя изолировать от качества последующей гласной: слоги *ty* — *t'i* — одна из соотносительных пар "твердых" и "мягких" слогов в ряду других, еще более тесно связанных пар

<...>

§ 8. Падение редуцированных явилось тем процессом, который "переполнил чашу". В результате этого процесса совершился скачок, количество перешло в качество: твердость или мягкость согласных полностью превратилась в качество самостоятельное, позиционно не обусловленное. Падение редуцированных привело к возможности изолировать твердость и мягкость согласных от качества следующей гласной, так как именно после осуществления этого процесса появились твердые и мягкие согласные на конце слова (*стол*, *стол'*), а также некоторые твердые и мягкие согласные перед некоторыми согласными (*варка*, *вар'ка*). Твердость-мягкость согласных — качество, первоначально целиком зависящее от качества следующей гласной, на последнем этапе (после смягчения полумягких и до падения редуцированных) — взаимозависимое, после падения редуцированных стало независимым, самостоятельным. Твердость-мягкость согласных полностью освободилась от позиционных условий и стала фонемообразующей категорией.

Это привело к далеко идущим последствиям во всей системе языка, в том числе и в рассматриваемом нами вопросе. Поясню на примере: *lyka* и *l'ika*. После падения редуцированных появилась возможность изолировать *l* и *l'* от качества последующей гласной: ср. *stol* и *stol'*. При этом надо помнить, что в абсолютном начале имеется только *i* (*iva*) и что, следовательно, изолировать *y* от качества предшествующей согласной нельзя.

<...>

Происходит заключительный акт нашей "драмы": "действующие лица" переменились ролями. Твердость и мягкость согласных — качества, некогда фонетически обусловленные, зависимые, разрывают "цепи" этой зависимости, становятся самостоятельными, господствующими, обусловливающими; наоборот, качества, некогда господствующие и самостоятельные (*y* и *i*), становятся обусловленными, зависимыми, подчиненными. Между этими двумя конечными этапами был ряд промежуточных, в частности была переходная эпоха "междущарствия", взаимной обусловленности — эпоха "твердых" и "мягких" слогов.

Мы рассмотрели основную сюжетную линию развития интересующих нас явлений, так сказать, столбовую дорогу. Но для выработки современных отношений немалое значение имели и некоторые боковые пути и тропинки, побочные эпизоды, которые также надо рассмотреть.

Среди них большое место занимают процессы, приведшие к взаимоисключаемости *i* и *y* в начале слова и фонетическому чередованию *i* и *y* в одной и той же корневой морфеме. Рассмотрим и их.

Звуки *I* и *Y* в начале слова

§ 10. Процессы, которые привели к неразличению *y* и *i* в начале слова, относятся еще к доисторической эпохе.

Старые *ī* и *i* различались как фонемы во всех положениях, в том числе в начале слова.

В дальнейшем *ī*, делабиализуясь в *y*, выделяло в начале особый лабиальный элемент *y*, который после согласной, возможно, придавал лабиализованный характер этой согласной, а в начале слова сохранился в виде отдельной артикуляции *y*, позднее *w* или *v*. Поэтому уже с давней доисторической поры в славянских диалектах гласная *y* не употреблялась в начале слова, и это сохраняет свою силу и до сих пор в русском языке.

Перед начальными *ī* (*b*) и *i* также развивался согласный элемент — *j(i)*: *jī*→*jь*, *i*→*ji*. Однако в дальнейшем начальное *jь* изменяется в *i*, а начальное *ji* утрачивает *j* (ср. перед другими передними гласными, а также *a*, где *j* сохраняется). Поэтому в дальнейшем звук *i* в начале слова, в противоположность звуку *y*, оказывается возможным и сейчас встречается во многих словах русского языка.

Так было устранено различие *y* и *i* в начале слова.

Этот частный процесс весьма давней поры, когда он совершился, то не внес заметных изменений в фонетическую систему. Однако много веков спустя, когда имели место многие другие процессы, как те, о которых было сказано выше, так и, в особенности, те, которые будут рассмотрены ниже, он сыграл свою роль в функциональном объединении звуков *y* и *i*.

§ 11. В соответствии с *i* абсолютного начала слова после твердых согласных в современном русском языке выступает *y*. В этом — одно из оснований считать *y* вариацией фонемы *i*. Рассмотрим историю этого явления.

Явление это могло иметь различное происхождение в зависимости от времени появления тех или иных сложений и от характера этих сложений. Чем более тесным было сложение, тем раньше и сильнее происходили процессы ассимиляции в широком смысле слова и наоборот. Однако конечный результат (за единичным исключением) был один: предшествующая согласная сохраняет свою твердость, а звук *i*, начинающий собой корень, изменяется в *y*.

Распределяя сложения, имевшие "твердую согласную + *i*", по степени убывающей близости, спаянности, надо иметь в виду: а) сложения с приставками в первой части; б) сложения с предлогами в первой части; в) сложения с самостоятельными словами в первой части. В первых двух случаях следует также различать сложения с предлогами-приставками на -*z* и на другие согласные.

<...>

Итак, хронология рассмотренных явлений представляется, примерно, следующей:

1. *roz+iskati, podъ+imati, otъ izby, bratъ idetъ (domъ)*

2. ***rozyskati, podŷmati***, *otъ izby, bratъ idetъ (domъ)*

3. *rozyskati, podymati, otŷizby, bratъ idetъ (domъ)*

4. *rozyskat'i, podumat'i, ot-yzby brat-yd'et' (dom)*

Само собой разумеется, что сочетание *ky* на стыке предлога и гласной *i* следующего слова или на стыке самостоятельных слов (*k-yvanu, k-yz'b'e, sn'ek-yd'ot*) появилось тогда же, когда и другие сочетания (например, *ot-yzby, s-yvanom, brat-yd'ot*), т. е. после падения редуцированных.

<....>

¹ Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки *I* и *Y*. Вестник Московского университета. 1947, № 1. С. 41-57.

² Хотя и в совсем другом смысле, чем парные твердые и мягкие согласные современного русского языка, как это будет видно из дальнейшего.

³ В скобках указываются возможные после согласных передние и непередние гласные.

Л. Э. Калнынь

РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ ТВЕРДОСТИ И МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ¹

<...> Проведенное исследование развития категории твердых-мягких согласных в русском языке позволяет сделать следующие выводы общего характера.

Все то значительное многообразие, в котором предстает категория мягкости-твердости согласных в современных славянских языках, восходит к единому типу, который был свойствен общеславянскому языку. Этот тип характерен и для языка восточных славян древнейшего периода. Он характеризовался ограниченным количеством твердых и мягких парных фонем, причем твердость-мягкость согласных была не нейтрализованной, т.е. различающейся в любой фонетической позиции.

Парными по твердости-мягкости были согласные [l] — [lʹ], [n] — [nʹ], [r] — [rʹ], [z] — [zʹ], [s] — [sʹ]. Согласные [lʹ], [nʹ], [rʹ] первоначально возникли как фонетические заместители соответствующих твердых согласных в сочетании с [j]. Однако для языка восточных славян древнейшей эпохи согласные [lʹ], [nʹ], [rʹ] должны квалифицироваться уже как самостоятельные фонемы. Обособлению [lʹ], [nʹ], [rʹ] в самостоятельные фонемы способствовало то обстоятельство, что согласные [sʹ], [zʹ], к которым фонологически приравнивались [lʹ], [nʹ], [rʹ], никогда не были фонетическими заместителями [sj], [zj]. Заместителями этих последних сочетаний были мягкие шипящие [šʹ] и [žʹ], ставшие еще в общеславянском языке самостоятельными фонемами (ср. различаемость [žʹ] и [g], [šʹ] и [x] перед гласным [a] разного происхождения: *лежати* — *льгати*, *слышати* — *нюхати*).

Согласные [t], [d], [p], [b], [m], [v] были внепарными по твердости-мягкости, приобретая в положении перед гласными переднего ряда позиционную полумягкость.

Важнейшей вехой в развитии категории твердости-мягкости было смягчение полумягких. Этот фонетический процесс содействовал тому, что парные твердые и мягкие согласные предшествующей поры из категории не нейтрализуемой стали категорией нейтрализуемой (в положении перед гласными переднего ряда). Внепарные твердые согласные фонологических изменений не претерпели, приобретя, однако, в положении перед гласными переднего ряда позиционную мягкость. Эта мягкость, как и полумягкость более старшей эпохи, представляла собою лишь разновидность немягкой фонемы, будучи всегда обусловлена положением перед гласными переднего ряда.

Падение редуцированных, процесс общий для всех восточнославянских языков, освободило твердость-мягкость согласных, не имевших исконной мягкости, от позиционной обусловленности качеством последующего гласного — его передним или непередним образованием. Твердость-мягкость стала соотносительной категорией, охватывающей значительную часть согласных, и при том категорией, нейтрализуемой в определенных позиционных условиях, а именно — перед некоторыми гласными переднего ряда. Падение редуцированных явилось причиной превращения количественных изменений, связанных со смягчением полумягких, в изменения качественные. В эпоху непосредственно после падения редуцированных категория твердости-мягкости согласных сложилась уже в основных своих чертах, характерных для современного русского языка.

Специфические явления в области твердости-мягкости согласных в белорусском и украинском языках требуют специального исследования. Здесь заметим только, что эти явления восходят к поздним эпохам, по преимуществу к эпохе после падения редуцированных и отражают процессы, характерные для разных этапов становления языков украинской и белорусской народностей в отличие от языка великорусской народности. Во всяком случае следует еще раз подчеркнуть, что древнейшие этапы истории категории твердости-мягкости согласных были едины для всех восточнославянских языков.

До изменения [e] в [o], утраты [ě] как самостоятельной фонемы, развития аканья в русском языке система различения соотносительной и нейтрализуемой твердости-мягкости согласных в принципе была одинаковой перед ударенными и безударными гласными. Твердые-мягкие согласные различались перед [a], [u], [i] — [y], не будучи противопоставлены перед [e], [ě], [o], [ô].

Уже морфологическая замена [e] через [o] в определенных формальных элементах приводит к различаемости твердых и мягких согласных перед [o]: твердые согласные выступают перед [o] (из *o, ъ*), мягкие — перед [o] (из *e, ъ*). Дальнейшее фонетическое изменение [e] в [o] значительно расширяет эту различаемость. Утрата гласного [ě] как самостоятельной фонемы и объединение его с [e] или [i] устраняет в соответствующих говорах еще одно из положений неразличения твердых-мягких согласных. Что касается фонемы [ô], то она либо утрачивается, совпадая с [o], либо, напротив, проникает в положение после мягких согласных на месте этимологического [e]. В первом случае позиция неразличения устраняется в связи с ликвидацией фонемы [ô], во втором — в связи с появлением различения перед [ô].

<...> Процессы в области гласных в целом способствовали расширению противопоставленности твердых и мягких согласных, образуя новые позиции, в которых твердость-мягкость начинает различаться, или устраняя позиции, в которых твердые и мягкие согласные не были противопоставлены.

В целом история вокализма характеризуется утратой некоторых фонем, их объединением в разное время с другими фонемами (ср. объединение фонемы [e] и ее продолжения [ä] с фонемой [a], фонем [i] и [y], <...>. Это ведет к упрощению системы вокализма, сокращению состава сильных гласных фонем, доходящих в современном русском языке до пяти (по говорам до семи), в то время как в древнерусском языке до падения редуцированных и отождествления [ä] (из *e*) с [a] их было не менее десяти — [i], [e], [ě], [a], [ä], [o], [y], [u], [ь] [ъ]; в более же раннюю эпоху,

когда существовали носовые [ɛ] и [a], гласных фонем было одиннадцать (отсутствовала фонема [ǣ], вместо которой была [ɛ]).

Лишь в одном случае в истории вокализма имело место образование новой гласной фонемы — фонемы [ô], которая оказалась однако мало устойчивой по отношению к фонеме [o] и в значительной части говоров совпала с этой последней

Перечисленные процессы в области гласных, сокращая состав гласных фонем, уменьшали вообще фонологическую роль вокализма в звуковой системе языка в целом. Обратной стороной этих процессов явилось расщепление многих из ранее существовавших отдельных согласных фонем на две и в связи с этим значительное обогащение состава согласных фонем. Так, древнерусский язык характеризовался 21 или 22 согласными фонемами (последнее, если включить в состав согласных фонем звук [f], появившийся в заимствованных словах): [p] — [b], [v], [t] — [d], [s] — [z], [m], [l], [n], [r], [š'] — [ž'], [šč'] — [ždž'], [k] — [g], [x]², [č'], [c], [j], [f].

Первые 11 фонем, а также фонема [f] по мере того, как она укрепились в языке, в связи с описанными процессами в системе вокализма, расщепились каждая на две фонемы — твердую и мягкую, в результате чего система согласных фонем современного русского языка (имеем в виду литературный язык и аналогичные говоры), приняла следующий вид³:

p – b f – v t – d s – z m l n r
p' – b' f' – v' t' – d' s' – z' m' l' n' r'
š – ž š – š k – g x č' c j

Расширение противопоставления твердых и мягких согласных в положении перед гласными в эпоху после падения редуцированных обусловлено не только процессами в системе гласных, но и фонетическими процессами в области самих согласных, а также некоторыми морфологическими процессами (ср. различие твердых и мягких согласных перед [e], ставшее возможным, с одной стороны, за счёт утраты взрыва согласным [c], с другой, за счёт появления окончания *-ей* после твердых согласных у прилагательных и в форме тв.ед. суш. ж. р.).

Таким образом, развитие категории твердости-мягкости согласных шло по линии расширения противопоставления твердых и мягких согласных в положении перед гласными. Положение перед гласными в современном языке является положением наиболее широкого различия твердых и мягких согласных. Что касается противопоставления твердости-мягкости на конце слова и перед согласными, то оно, впервые возникнув после падения редуцированных, значительного развития в рус-

ском языке не получило. При этом губные согласные, не различаясь по твердости-мягкости перед согласными, во многих говорах русского языка имеют тенденцию утратить это различие и на конце слова.

¹ Калнынь Л. Э. Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке. – Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т. XIII, 1956, с. 121-226.

² По говорам могло быть и иначе: [x] –[ɣ] и [к].

³ Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии. М., 1949. С. 122.

В. Н. Сидоров

РЕДУЦИРОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ Ъ И Ь В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ XI В.¹

Так называемое "падение глухих" в древнерусском языке, т.е. утрата редуцированных гласных (передаваемых на письме буквами ъ и ь) как самостоятельных фонем, безусловно, является наиболее значительным по своим результатам фонетическим процессом в истории русского языка. Следствием его была радикальная перестройка звуковой системы, перестройка, которая существенным образом определила дальнейшие пути языкового развития. Достаточно хотя бы вспомнить о том, что большая часть фонетических черт, различающих современные восточнославянские языки и их говоры, представляет собой развитие тех фонетических возможностей, которые возникли в древнерусском языке в результате "падения глухих". Поэтому с известным правом историю звуковой системы русского языка можно подразделить на два основных периода – до и после "падения глухих". Отсюда ясно, какое значение приобретает для историка русского языка вопрос о времени утраты редуцированных гласных ъ и ь, а, следовательно, и о времени, когда эти гласные еще имелись в русском языке.

Вряд ли можно сомневаться в том, что в XI в. редуцированные гласные существовали в древнерусском языке как самостоятельные фонемы с собственным звучанием. Достаточно убедительные доказательства этому были приведены А. А. Шахматовым в его "Очерке древнейшего периода истории русского языка"².

По мнению А. А. Шахматова, доказательством того, что в древнерусском языке XI-XII вв. редуцированные гласные сохранялись, т. е. что

в это время сильные редуцированные еще не переходили в *o* и *e*, а слабые не исчезали, прежде всего служат показания памятников. Об этом говорит та последовательность в употреблении букв *ъ* и *ь* согласно этимологии, которая отличает старославянские памятники древнерусского извода (редакции) до середины XII в. от их оригиналов болгарского извода того же времени или более раннего времени.

<...> К доводам А. А. Шахматова в пользу существования редуцированных гласных в древнерусском языке XI в. можно прибавить еще другие, причем, как мне кажется, не менее убедительные, чем те, которые приводит он.

Прежде всего я имею в виду общеизвестный факт, заключающийся в том, что в русских памятниках XI-XII вв. у имен мужского и среднего рода окончания творительного падежа единственного числа *-омь*, *-емь*, характерные для старославянских памятников болгарского извода, заменялись на письме окончаниями *-ъмь* и *-ъмь*. Такие написания окончаний творительного падежа с буквами *ъ* и *ь* вместо *o* и *e* "уже в некоторых рукописях XI века становятся орфографическими нормами; в обоих почерках Остромирова евангелия написания *-ъмь* составляют 96% всех случаев употребления формы instr. sg. от основ на *-o* и на *-u*, а в обоих почерках Архангельского евангелия – все 100% и т.д."³.

Написания букв *ъ* и *ь* в окончании творительного падежа единственного числа у имен с основой на *-o* и на *-u*, безусловно, отражает действительное произношение этих окончаний в древнерусском языке. <...> Понятно, что заменять окончания *-омь*, *-емь* оригиналов болгарского извода древнерусскими окончаниями *-ъмь*, *-ъмь* возможно было только в том случае, если в это время редуцированные *ъ* и *ь* существовали в языке в качестве особых фонем, отличных по своему звучанию в сильном положении от гласных *o* и *e*. Иначе бы, т.е. если бы в языке XI в. редуцированных уже не было, окончание творительного падежа имело гласные *o* и *e*, во что изменялись *ъ* и *ь* в сильном положении. В этом случае, следовательно, произношение окончаний творительного падежа полностью соответствовало бы болгарским написаниям, которые и сохранились бы, поскольку для их замены не было бы никаких оснований. Между тем, такая замена не только наблюдается в памятниках XI в., но окончания *-ъмь*, *-ъмь* становятся даже орфографической нормой старославянских памятников русского извода⁴.

Русский извод старославянского языка, представляющий собою ответвление от болгарского извода, как правило сохранял те черты древнеболгарского языка, которые не противоречили фонетической системе древнерусского языка, хотя бы эти черты и отличались от древнерусских.

Окончание творительного падежа как раз и было такой чертой, которая отличала древнерусский язык от старославянского извода болгарского извода, и в то же время болгарское окончание по своему звучанию не противоречило фонетической системе древнерусского языка. Казалось бы, болгарское окончание имело все возможности утвердиться на письме в древнерусских памятниках. Однако этого не произошло. Естественно задать вопрос о причине этого явления. Объяснить его нетрудно, если признать существование в древнерусском языке редуцированных фонем.

Как уже указывалось, А. А. Шахматов считал главным доказательством существования редуцированных в древнерусском языке их последовательное написание в русских памятниках XI в. Эта последовательность, согласно этимологии, осуществлялась вопреки оригиналам болгарского извода, в которых такой последовательности не было. Ее не было, с одной стороны, потому, что в болгарских оригиналах X и XI вв. уже нашел отражение процесс "падения глухих", происшедший у южных славян раньше, чем у восточных; с другой стороны, потому, что в болгарских памятниках, кроме того, отражались различные фонетические изменения, которые вели к смешению на письме букв *ъ* и *ь*. Все эти явления не проводились на письме в болгарских памятниках как орфографическая норма. Естественно, что они не могли быть подведены под какие-нибудь нормы и русскими писцами. В результате отсутствие норм в написании букв *ъ* и *ь*, которые для русских писцов XI в. были знаками редуцированных фонем, при наличии противоречия между употреблением этих букв в болгарских оригиналах и живым произношением редуцированных гласных в древнерусском языке, повело к тому, что русские писцы стали руководствоваться при обозначении редуцированных гласных на письме своим живым произношением. Так они поступали по отношению к окончанию творительного падежа единственного числа у имен с основой на *-o* и *-и*, в котором они произносили редуцированные *ъ* и *ь*, а не гласные полного образования *o* и *e*. Болгарские написания окончания творительного падежа с буквами *o* и *e* для русского писца стояли в одном ряду с другими написаниями, не отвечавшими живому употреблению редуцированных гласных.

Такое же несоответствие между написанием букв *ъ* и *ь* в болгарских памятниках и своим произношением русские писцы встречали еще в окончании 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени глаголов. Болгарскому окончанию *-тъ* соответствовало русское *-ть*. Русские писцы и эти случаи подчинили общей тенденции писать *ъ* и *ь* в соответствии с употреблением редуцированных фонем в своем языке. В результате написание в 3-м лице глаголов русского окончания *-ть*

вместо болгарского *-тъ* становится "нормой во всех русских рукописях XI-XIV вв."⁵, в том числе и в тех, которые по своему языку являются памятниками старославянского языка. <...>

Наконец, таким же образом можно объяснить замену в русских памятниках XI-XII вв. болгарских написаний *рѣ, рь, лѣ, ль*, обозначавших слоговые плавные, русскими написаниями *ѣр, ѣр, ѣл*. Такие написания последовательно проводятся уже во 2-м почерке Остромирова евангелия⁶ и становятся языковой нормой, особенно в текстах, "предназначавшихся для публичного произнесения, как, например, в списках евангелия"⁷.

Факт замены болгарских написаний, обозначавших слоговые плавные, безусловно, указывает на то, что в древнерусском языке болгарским слоговым плавным соответствовали какие-то иные звучания. В противном случае у русских писцов XI в. не было бы оснований отказываться от написаний, которые удовлетворяли болгарских писцов, несмотря на известные неудобства, вытекающие из совпадения этих написаний с написаниями, передававшими несколько иные звучания.

<...> Отказ от болгарских написаний типа *рѣ*, обозначавших в памятниках болгарского извода слоговые плавные, мог произойти в русской письменности только потому, что эти написания достаточно резко противоречили тем звучаниям, которые слышались в древнерусском языке в соответствии с болгарскими слоговыми плавными. Если к тому же учесть, что русские писцы при написании *ѣ* и *ь* руководствовались своим собственным употреблением редуцированных звуков, то замена болгарских написаний типа *рѣ* русскими типа *ѣр* может быть объяснена, как мне кажется, только тем, что в древнерусском языке перед плавными находились обычные слоговые редуцированные гласные. Именно их, а не гласный элемент в приступе слоговых плавных передавали в написаниях *ѣр, ѣр, ѣл* между согласными буквы *ѣ, ь*, являвшиеся графическими знаками редуцированных фонем. <...>

Замену болгарских написаний с *ѣ* и *ь* после плавных, т.е. *рѣ, рь, лѣ, ль*, русскими с *ѣ* и *ь* перед плавными, т. е. *ѣр, ѣр, ѣл*, а также изменение сочетаний, передаваемых этими написаниями, при процессе "падения глухих" в сочетании с гласными *о* и *е* перед плавными правдоподобнее и проще всего объяснить тем, что в древнерусском языке до времени "падения глухих" существовали сочетания типа **tьrt*, в которых сохранялись редуцированные гласные фонемы *ѣ, ь* перед плавными *r, r', l*. Из таких сочетаний легче всего вывести те звуковые явления, которые наблюдаются в восточнославянских говорах после "падения глухих" в соответствии с сочетаниями типа **tьrt*.

Предположение, что в древнерусском языке существовали сочетания типа **tьrt* с слоговыми редуцированными гласными *ь, ь* обычного образования, как будто бы противоречит общепринятому представлению, что в это время все слоги слова в языке были открытыми. Действительно, сочетания типа **tьrt*, если считать, что в них редуцированные были слоговыми, а плавные неслоговыми, конечно, образовали закрытые слоги. Наличие таких сочетаний в языке, в котором все прочие слоги были открытыми, было бы нарушением обязательной слоговой модели слова, причем нарушением единичным. В известной мере именно это обстоятельство заставляло исследователей предполагать, что в сочетаниях типа **tьrt* редуцированные гласные с плавными изменялись в слоговые плавные, благодаря чему слоги становились открытыми.

Однако то обстоятельство, что сочетания типа **tьrt*, образуя закрытые слоги, были бы исключением по отношению к общей модели древнерусского языка, само по себе не может служить доказательством, что в языке не могло быть закрытых слогов. Вместе с тем нет никакой необходимости подвергать сомнению реальность действия тенденции к открытости слога, той тенденции, которой наряду со многими другими фонетическими изменениями обычно объясняется и образование слоговых плавных в сочетании типа **tьrt*.

Тенденция к открытости слога, действовавшая в древних славянских говорах, не представляла собой звукового закона, однократное действие которого в определенных границах распространялось одновременно на все звуковые явления, удовлетворявшие фонетическим условиям, в которых происходило звуковое изменение. Она есть то общее, что объединяло разновременные и качественно различные фонетические изменения, определяемые звуковой системой языка и в свою очередь определяющие общее в разновременных изменениях этой системы.

Тенденция к открытости слога исторически сложилась в общеславянском языке в результате ряда случайных по отношению к ней самой фонетических изменений. Эти изменения увеличивали число открытых слогов, благодаря чему слоговая модель слова стала строиться все в большем количестве случаев по типу открытого слога. В результате в какой-то момент возникла тенденция к изменению оставшихся в славянских говорах закрытых слогов в открытые. Следствием ее был ряд фонетических изменений, которые затрагивали различные в фонетическом отношении звуковые явления и, что особенно важно подчеркнуть, которые протекали в разное время. Поэтому, пока тенденция к открытости слога была в действии, в говорах существовали противоречащие господствующей слоговой модели закрытые слоги, к устранению которых вела

эта тенденция, так как она могла осуществляться только в течение того времени, пока в языке сохранялись закрытые слоги. Таким образом, нет ничего невероятного в том, что при почти последовательном проведении в древнерусском языке XI в. модели открытого слога, как результата длительного действия тенденции к открытому образованию слогов, в нем имелись еще закрытые слоги в сочетаниях типа **tьrt*. Они были возможны в языке, потому что XI в. в истории русского языка мог быть еще временем действия тенденции к открытости слога, а не временем, когда она уже завершила преобразование закрытых слогов в открытые. Такое завершение могло бы быть делом будущего, если бы процесс "падения глухих", разрушивший модель открытого слога и прекративший действие соответствующей тенденции, не был бы так близок.

Однако отсюда не следует, что сочетания типа **tьrt* со слоговыми редуцированными перед плавными обязательно образовали закрытые слоги. Более правдоподобным представляется то, что тенденция к открытости слогов все же распространила свое действие и на эти сочетания. Конечно, сочетания типа **tьrt*, раз они заключали в себе слоговые редуцированные и неслоговые плавные, не могли образовать открытых слогов. Но совсем не обязательно считать, что плавные после слоговых редуцированных были именно неслоговыми. Устранение закрытого слога в сочетаниях типа **tьrt* происходило, можно думать, путем изменения неслоговых плавных в слоговые (**tьrt > *tьrt*), благодаря чему сочетание **tьrt* из однослогового становилось двуслоговым, т.е. **tьr|t* с одним слогоразделом после неслоговой плавной изменялось в **tь|r|t* с двумя слогоразделами – после слоговой редуцированной и после слоговой плавной, например: **tьr|gь > *tь|r|gь*, **z'br'|no > *z'b|r'|no*, **pь|nь > *pь|l|nь* и пр.

В пользу такого предположения об изменении сочетаний типа **tьrt* в древнерусском языке можно привести несколько соображений.

К XI веку древнерусский язык представлял собой систему, в которой с наибольшей последовательностью проводился принцип построения слоговой системы слова по типу слогового сингармонизма и открытого слога. В этом отношении сочетания типа **tьrt*, если они образовали закрытые слоги, как уже говорилось, выделялись как совершенно исключительные. Поэтому более вероятным представляется, что и они все же подчинялись общей модели построения слога, образуя слоги открытые. А так как по показаниям памятников древнерусского письма редуцированные гласные, предшествующие плавным в этих сочетаниях, были слоговыми, то открытость слога в сочетаниях типа **tьrt* могла образо-

ваться только путем изменения неслоговых плавных в слоговые, в результате чего получились двуслоговые сочетания типа $*t\bar{b}|r|t$.

Дальнейшая судьба сочетаний типа $*t\bar{b}rt$ в восточнославянских языках наиболее легко объясняется именно при предположении, что слоговыми были в них не только редуцированные гласные, но и следующие за ними плавные согласные, т.е. что это были сочетания типа $*t\bar{b}|r|t$.

Схематически судьбу этих сочетаний можно изобразить следующим образом.

Процесс "падения глухих" не мог не затронуть и тех редуцированных, которые произносились перед слоговыми плавными в сочетаниях типа $*t\bar{b}|r|t$. Однако судьба этих редуцированных отличалась от судьбы редуцированных в других фонетических положениях. Последние, как известно, были "сильными" или "слабыми", т.е. более долгими или более краткими, в зависимости от долготы гласной следующего слога. Этим и определялась судьба редуцированных, когда происходила их утрата. "Слабые" редуцированные исчезали, "сильные" изменялись в гласные полного образования *o* и *e*. Положение редуцированных перед слоговыми плавными было иным. Слоговые плавные не представляли собой самостоятельных фонем в системе согласных древнерусского языка. Они были лишь вариациями неслоговых плавных, слоговое произношение которых определялось их положением в исходе слога. Таким образом, редуцированные \bar{b} и \bar{v} в сочетаниях типа $*t\bar{b}|r|t$ находились в положении перед позиционно обусловленным слогом. Это положение не отвечало тем условиям, которыми создавалось различие между "слабыми" и "сильными" редуцированными, и они при "падении глухих" изменялись одинаковым образом. Во всех восточнославянских говорах \bar{b} и \bar{v} изменялись перед слоговыми плавными в *o* и *e*, т.е. в те же гласные, в которые в других фонетических положениях изменялись "сильные" \bar{b} и \bar{v} .

Совпадение в результатах изменения редуцированных \bar{b} и \bar{v} , находящихся в положении перед слоговыми плавными, с "сильными" редуцированными не было случайностью. Одним из следствий "падения глухих" было разрушение господствовавшей в древнерусском языке модели открытого слога. В языке возникло огромное число закрытых слогов. С разрушением старой слоговой модели уничтожались фонетические условия, которые вызывали слоговое произношение плавных в сочетаниях типа $*t\bar{b}|r|t$, и плавные, сокращаясь, утрачивали свою позиционно обусловленную слоговость. Сокращение слоговых плавных в свою очередь вызывало удлинение находящихся перед ними редуцированных \bar{b} и \bar{v} , которые изменялись, подобно "сильным" \bar{b} и \bar{v} , в гласные полного образования *o* и *e*.

Так происходило изменение ъ и ь перед плавными, когда за сочетаниями типа **tъ|r|t* следовал слог с гласной полного образования. Сами плавные при этом примыкали в слоговом отношении к предшествующим гласным, образуя закрытые слоги, например: **tъ|r|ga* > **tor|ga*, **z'ь|r'|no* > **zer'|no*, **pъ|l|na* > **pol|na* и др.

Несколько сложнее обстояло дело в тех относительно немногочисленных случаях, когда за сочетанием типа **tъ|r|t* следовал слог с исчезающими "слабыми" ъ и ь. В этом положении плавные были не только слоговыми, но, как можно полагать, и долгими. Тх долгота вызывалась "ослаблением", сокращением редуцированных ъ и ь следующего слога, приводившим в конце концов к их утрате. Следовательно, слоговые плавные удлинялись перед слогом со "слабыми" ъ и ь подобно тому, как в этом же положении удлинялись и другие слоги, что привело к изменению во всех говорах древнерусского языка "сильных" ъ и ь в гласные *o* и *e*, а в говорах – предках современного украинского языка – исконных *o* и *e* в конечном итоге в *i* (*кiнь' лiд*). При "падении глухих" долгие слоговые плавные утрачивали и свою слоговость, и долготу. Благодаря этому не только предшествующие плавным ъ и ь изменялись в *o* и *e*, но и после них развивались гласные *o* и *e*, т.е. образовалось так называемое второе полногласие, например: **tъ|r|gъ* > **tъ|r|gъ* > *torog*, **z'ь|r|nъ* > **z'ь|r|nъ* > *z'er'en*, **pъ|l|nъ* > **pъ|l|nъ* > *polon*. <...>

¹ В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 5–37.

² См. главу "Доказательства в пользу существования ъ и ь в древнерусском языке XI и XII века", посвященную специально этой теме ("Энциклопедия славянской филологии", вып. 11. ПГ., 1915, стр. 203-216).

³ Н. Дурново. Славянское правописание XI-XII вв. "Slavia", 1933, гоѡ. XII, seѡ. 1-2, стр. 64.

⁴ Н. Дурново. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов. «Byzantoslavica», Sv. I, Prague, 1929, стр. 18-19.

⁵ Н. Дурново. Славянское правописание XI-XII вв., стр. 65.

⁶ Ф. Ф. Фортунатов Состав Остромирова евангелия. «Сборник статей, посвященных В. И. Ламанскому», ч. 2. СПб., 1908, стр. 1418-1419.

⁷ Н. Дурново. Указ соч., стр. 68.

И. Фалёв

О РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ¹

В исследованиях, посвященных древнерусскому языку, одно из главных мест занимает история "редуцированных" звуков ("глухих", "иррациональных", "полукратких", "полугласных", звуков "неполного

образования"). Начиная с трудов Востокова до настоящего времени были высказаны самые разнообразные мнения, теории и гипотезы по поводу существования или отсутствия этих звуков в древнерусском языке, по поводу их произношения, времени исчезновения и относительно того, как происходило это исчезновение в разных наречиях, какие следы оставило после себя. Последнее по времени слово в этом отношении принадлежит покойному А. А. Шахматову, который в "Очерке древнейшего периода истории русского языка" (П., 1915) посвятил "падению глухих" целый отдел, занимающий четвертую часть этого замечательного труда. Так как не все ученые признают, что в XI и XII вв. в древнерусском языке существовали редуцированные гласные ъ, ь, и, А. А. Шахматову приходится доказывать это рядом фактов и соображений. Он приводит факты единичного характера и массовые показания русских памятников. К первым относятся слова христианской терминологии, заимствованные литовцами, латышами и финнами от русских (в этих словах русским ъ, ь соответствуют в литовск., лат., финск. гласные *u, i*) и подпись 1063 г. дочери русского князя АНА РЪИНА – Ана reina. Ко вторым относятся: 1) выдержанность написаний ъ, ь в русских памятниках XI-XII вв. и, главным образом, отсутствие *o, e* в чисто русских сочетаниях *tъrt, tьrt, tьlt*, 2) выдержанность написаний – *иіе, иіа* и т. п. для передачи полукраткого *i* (*оружиіе* и т. п., а не *оружьіе*), 3) для южнорусского наречия – отсутствие написаний ѣ в слогох, предшествующих слогам с исчезнувшими редуцированными (т. е. отсутствие таких форм, как *шѣсть, камѣньіе* и т. п.²).

Доказав таким образом существование редуцированных звуков для русского языка XI-XII вв., А. А. Шахматов поднимает вопрос: "произошло ли падение полукратких гласных одновременно во всех положениях в слове" или нет³. На этот вопрос дается такой ответ: "памятники XI-XII вв. дают основание утверждать, что в процессе падения полукратких гласных замечалась следующая последовательность: сначала исчезли полукраткие в начальном слоге слова; потом они исчезли в другом положении"⁴. Именно, "ряд русских памятников XII века опускает ъ, ь в начальном слоге слова, сохраняя их в другом положении"⁵. Далее приводятся факты из трех рукописей: 1) Успенского сборника XII в. (второй почерк жития Феодосия), 2) Мстиславовой грамоты ок. 1130 года, 3) Синодального списка I новгородск. летописи (первые два почерка); про эти памятники говорится, что они, сохраняя срединные ъ, ь, допускают пропуск глухих в начальных слогах. Утверждение это не вполне соответствует действительным фактам. Так, в Синодальном списке <...> находим пропуски срединных глухих в одних только коренных слогах более чем по

100 случаев у каждого писца, пропуски суффиксальных *ъ, ь* более 150 раз у первого писца и более 250 раз у второго. Наоборот, в некоторых случаях выдерживается строгое написание глухих в начальном слоге. Напр., слово *въноукъ* у первого писца пишется всегда с сохранением глухого (15 раз), в то время как некоторые другие корни в начальном слоге постоянно пишутся без глухого или выражают колебание. Так, корень *зъло* пишется постоянно без *ъ* (12 раз), корень *кънѣзь* 14 раз без глухого (с *ъ* два случая при переносе), а корень *съла* — 5 раз без *ъ* и 3 раза с глухим (один случай при переносе). Префикс *въз-* (*въс*) у первого писца употребляется постоянно с *ъ* (более 40 раз без переноса), а префикс *съ-* опускает глухой в 24 случаях, сохраняя его в 53 примерах. Предлоги, примыкающие фонетически к следующему слову, дают те же отношения: предлог *въ* у первого писца находим постоянно с глухим (на первых двадцати страницах встретилось до 175 случаев), а предлог *къ* имеет опущение глухого в 7-ми примерах (с сохранением глухого на первых сорока страницах встретилось 11 примеров). Приведенные данные показывают, что ссылка на синодальный список не имеет значения доказательства для выставленного А. А. Шахматовым положения. Мстиславова грамота слишком мала, чтобы иметь какую-нибудь показательную силу. Но и там встречаем рядом с опущением глухого в начальном слоге случаи его сохранения. Из четырех корней с начальным глухим три корня пишутся постоянно без глухого: *кънѣзь*, *кънѣжениѣ* (4 раза), *кто* (2 раза), *всеволодъ* (2 раза), но *Мъстиславъ* с сохранением глухого, префикс *съ-* в слабом положении с сохранением глухого (*състоитъ*), предлог *съ* в слабом положении три раза с сохранением глухого (*съ данию*, *съ вирами*, *съ продажами*), предлог *въ* точно так же (*въ монастыри*). Что касается второго почерка Успенского сборника, то <...> следует обратить внимание на то обстоятельство, что и в этом памятнике не все корни пропускают глухой в первом слоге. Так, рядом с корнем *мъног-*, который чаще пишется без *ъ* (56 раз без глухого и 12 примеров без переноса с сохранением глухого), *кънѣзь* (19 раз без *ъ* и 6 раз с глухим) находим исключительно с глухим *въс-* (98 примеров), *что* (16 примеров), *къто* (10 раз), *зъло* (10 раз), почти выдержанные *сътвор-* (2 примера без глухого), *мън-* (один пример без глухого). <...>

В разбираемом месте А. А. Шахматов ссылается еще на §346 своего труда, где приведены доказательства в пользу его взгляда. Там, кроме уже упомянутых и разобранных, находим еще несколько памятников <...>. Все перечисленные памятники написаны в XIII-XIV вв. и имеют ясные следы окончательного падения глухих; ср. такие случаи, как: *што*, *децьскыи*, *добросердые*, *долгъ*, *смерть*, *жердью*, *держати*, *торжекъ*,

волкъ, верхъ и т. п. В этих рукописях рядом с фактами живого произношения (пропуск *ъ, ь* в начальных, срединных и конечных слогах, замена *ъ, ь* сильных через *о, е*) имеются следы старых орфограмм, где полукраткие *ъ, ь* сохраняются не только в срединных слогах, но и в начальных: *что, дѣва, сътѣ, мѣхи, вѣстоупатисѣ, мѣздоу, мѣстиславѣ, льнѣна, тѣрѣ* и др. Подобные памятники ничего не могут дать в подтверждение высказанной Шахматовым гипотезы. <...>

Итак, нет достаточных оснований принимать вышеизложенную гипотезу А. А. Шахматова правильной. После доказательств своей теории А. А. уточняет ее: он указывает на возможность того, что падение глухих начального слога происходило сперва перед следующим ударенным слогом, который требовал "особенного напряжения, особенной силы, в виду того, что полукраткость предшествующего слога возмещалась экспираторным усилением последующего... Это имело последствием еще большее ослабление слога с полукраткой гласной и вело к полному ее исчезновению"⁶. Эти соображения, лишенные доказательных фактов, представляются слишком теоретическими, как бы придуманными, тем более, что история русского языка говорит о последующем за ударением слоге, как о наислабейшем, а не о предшествующем, который из неударенных наиболее силен. Следует также принять во внимание следующее: слова часто составляют единое фонетическое целое вместе с предшествующими предлогами, частицами, союзами и слабо ударяемыми словами. Следовательно, начальный слог, который нам представляется ясно в каждом отдельно взятом слове, – в речи, во фразе (где и происходят языковые изменения) может и не оказаться таковым. <...>

Сопоставление фактов опущения *ъ, ь* в разных рукописях (русских и старославянских) ведет к предположению о том, что "падение глухих" началось в русском языке (и в старославянском) с некоторых корней, в которых редуцированный звук не играл никакой роли, не поддерживался другими формами с сильным глухим, был так сказать "лишним", "пустым" с языковой точки зрения. Ср. постоянное в одних и частое в других рукописях написание *мног-кнѣзь*, отчасти в противопоставлении более частому *зьло* и т.п. Факты, подтверждающие это предположение, слишком осложнены графическими явлениями, может быть влиянием соседних согласных, требуют тщательного изучения всех рукописей древнейшего периода; тем не менее перед нами имеются несколько корней, "склонных" к употреблению без глухих, и ряд других корней, долго удерживавших глухой; ясно и более долгое удержание глухого в префиксе, предлоге, суффиксе⁷.

Относительно замены сильных *ъ, ь* через *о, е* нужно полагать, что явление это было связано с падением полукратких гласных и вызвано им, но происходило несколько позднее начального момента исчезновения полукратких: памятники, опускающие на письме слабые *ъ, ь*, часто не имеют достоверных примеров прояснения. Нужно думать, что в таком именно смысле А. А. Шахматов считает эти явления одновременными⁸. Последним моментом "падения глухих" надо считать прояснение их в сочетаниях с плавными.

Что касается того, как происходил процесс "падения редуцированных" в отдельных наречиях, то Шахматов вслед за Потемной различает и в этом отношении северно-русское наречие от южно-русского: в последнем памятники середины XII века (Добрев. 1164 г.) показывают, что процесс "падения глухих" закончился, а "полное падение глухих в севернорусском наречии обнаруживается памятниками, начиная с XIII века"⁹. А. А. Шахматов в доказательство приводит систематические опущения *ъ, ь* в разных положениях из нескольких новгородских памятников второй половины XIII в.¹⁰. Более доказательны были бы примеры систематических *ьр, ър, ъл* в новгородских рукописях первой половины XIII века и замена *ь, ъ* в таких сочетаниях через *е, о* для рукописей второй половины XIII века. Напр., в севернорусском Милятином ев. 1215 г. мы не находим достоверных случаев для сочетаний *ор, ол, ер*. Еще большую может быть доказательную силу для указания одновременности падения глухих в южнорусском и севернорусском имела бы ссылка на то, что связанные с падением редуцированных звуковые явления отразились различным образом в этих наречиях. Ср.: 1) разную судьбу сочетаний *рь, ль, лъ* между согласными, 2) различную судьбу звонких согласных, за которыми исчезли глухие, 3) разную судьбу полукраткого *ї* в инфинитиве, в начале слов, после согласного перед *ї*, 4) разную историю *о, е* в слоге перед выпавшим полукратким, 5) сильное развитие "второго полногласия" в севернорусском.

Итак, "падение глухих" в русском языке началось не в первом слоге слова, а в корнях, где *ъ, ь* не чередовались с *ъ, ь* сильными или были "пустыми", "лишними" для языкового сознания. Это повело к исчезновению редуцированных в других корнях, потом в суффиксах и префиксах. Исчезновение слабых глухих повело к переходу сильных в гласные полного образования; последней стадией в этом процессе было прояснение глухих в сочетаниях с плавными. В южнорусском языке "падение глухих" завершилось в половине XII века, в севернорусском – в первой половине XIII века; следствия этого процесса в некоторых случаях обнаруживаются различно для того и другого наречия.

¹ Фалёв И. О редуцированных гласных в древнерусском языке. – Сб. Язык и литература. Т. II, вып. 1. Л., 1927, с. 111-122. Сообщено в 1923-24 гг. в Исследовательском Институте при ЛГУ; печатается с дополнениями.

² Другие исследователи, кроме выдержанности «правильных» написаний с глухими в древних рукописях, приводили и иные доказательства наличия глухих в древнерусском языке: употребление нотных значков над буквами ъ, ь в нотных стихирах и кондокарях (Востоков, Лавровский и др), употребление надстрочных знаков вместо глухих (Потебня), употребление ъ, ь вм. о, е и о, е вм. слабых глухих (Потебня, Огоновский), существование групп "трудно произносимых" согласных (Колосов), употребление ъ, ь в названиях городов и личных именах, которые не являются заимствованными из старославянской орфографии (Брандт).

³ На этот вопрос учеными давался различный ответ. Некоторые указывали, что падение глухих началось с последнего, конечного слога (Потебня, Огоновский, Житецкий, Ягич), другие говорили о производных, не коренных слогах, где рано начался переход ъ, ь в о, е (Востоков), третьи связывали начало падения глухих с нахождением редуцированного звука среди определенной группы согласных (Колосов, Ляпунов), иные указывали, что падение глухих началось с определенных слов (иногда определенно не указываемых).

⁴ Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода..., с. 217

⁵ Там же, с. 217.

⁶ Там же, с. 218.

⁷ Раннее и частое появление *створ-* в виду того, что при других корнях приставка *съ-* употребляется с глухим, я объясняю графически: влиянием частого написания суффикса *-ьств-*; с «ненужностью» ъ в *мног-*, *кън<зь*, сравните общеслав. исчезновение глухого в *къгда*, *тъгда*. Точное определение всех корней, где началось опущение глухих, требует специального исследования.

⁸ Разновременными эти явления считал Соболевский. Лекции по истории русского языка. 1907, с. 46, 57).

⁹ Соболевский объединял в этом отношении все наречия.

¹⁰ Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода ..., с. 228-229.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ И СИНТАКСИС

В. Л. Георгиева

ИСТОРИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА¹

Исторические изменения в области безличных предложений

В древнерусском языке периода начала письменности уже существовали основные типы безличных предложений, известные современному русскому языку. Так, в ранних памятниках находим предложения, образованные безличными глаголами, личными в безличном употреблении без частицы (бывшего местоимения) *-ся* или с этой частицей, безлично-предикативными наречиями с инфинитивом или без него, независимым инфинитивом, а также предложения, безличность которых создается наличием отрицания или значения количества чего-либо: *Ихъ же нѣсть племени ни наслѣдка* (Пов. вр. лет), *И бѣ печенегъ безчисла* (Там же). Однако внутри некоторых из перечисленных типов произошли в процессе истории языка значительные изменения. Начнем рассмотрение этих изменений с предложений, образованных безлично-предикативными наречиями. Примеры: *Дамъ ему, елико ему будетъ требѣ* (Пов. вр. лет), <...> *Жаль бо ему (Игорю) мила брата Всеволода* (Сл о п. Иг.). <...>

Как видим, в зависимости от семантики предикативного наречия, оно может выступать главным членом безличного предложения без инфинитива или в сочетании с последним. Перед нами примеры вполне сформировавшейся безличной конструкции. Однако большую часть безлично-предикативных наречий в современном языке составляют формы на *о*. Конструкции с такими словами получили завершение своего синтаксического формирования уже в период письменности. В старославянских и некоторых древнерусских памятниках наблюдаются предложения с формами на *о* в сочетании со связками настоящего времени. Например, <...> в Патерике Печерском: *Добро есть уповати на Господа* <...> К периоду начала славянской письменности можно предполагать не только двусоставный характер этих конструкций, в том числе и у восточных славян, но и иную семантику некоторых форм на *о* (значение именного прилагательного). Дело в том, что параллельно с формами на *о* употреблялись тогда наречия с конечным *ѣ* (от формы местного падежа

соответствующей лексемы). В словаре И. И. Срезневского приводятся формы *нелѣнѣ*, *добрѣ* и др.

Таким образом, формирование главного члена безличного предложения, представляющего собою предикативное наречие на *о* (с инфинитивом или без него), было завершено только в письменный период. Однако уже в памятниках, оригиналы которых датируются XII в., наблюдаются лексически разнообразные формы на *о* без связок в форме настоящего времени, дающие основание говорить об односоставности (безличности) соответствующих конструкций. Приведем лишь некоторые примеры: *Ту достойно снятися и порядъ положити* (Пов. вр. лет) <...>. Эти конструкции вместе с развитием форм на *о* делались все более богатыми в отношении лексического разнообразия.

Исторические изменения в безличных конструкциях с глагольными (невозвратными) формами проявлялись в развитии лексического состава самих этих глаголов. Так, в древнерусском языке был очень распространенный безличный глагол *достоить*, ушедший впоследствии из языка и замененный глаголом *следует*. Этот древний безличный глагол употреблялся еще в памятниках XV в., не только летописных, но и деловых: *И достояше убо ... Рускои митропольи въ свои чинъ приити* (Грамота 1414 г.). Наряду с предикативными наречиями *мочно* (*мощно*), *можно* наблюдался в безличном употреблении и глагол *можетъ*, что нехарактерно для позднего периода развития языка. В ранних памятниках: *Тѣм же и из Руси можетъ ити по Волзѣ в Болгары и въ Хвалисы* (Пов. вр. лет).

Вместе с тем увеличивалось лексическое разнообразие глаголов в безличных конструкциях, означающих стихийные явления. Из сравнительно ранних памятников можно привести лишь редко встречающиеся примеры <...>. Имеются отдельные примеры в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку: *Бысѣ буря велика и много пакости бысѣ по селомъ дубье подрало*. Но памятники XV-XVI вв. отражают уже значительно более широкий круг глаголов этой семантической группировки, употребляемых безлично: <...> *Стѣну у переднихъ дверей проразило наскось, и иконы побило праздничные* (Моск. лет.). <...>.

Следует констатировать также расширение в процессе развития языка лексического разнообразия употребления безличных глаголов с частицей *-ся*. В ранних памятниках имели распространение лишь глаголы со значением стихийного возникновения типа *лучитися* (*случитися*), *ключитися* и под., а из глаголов со значением физического или психического состояния только глагол *мнитися*. Например, <...> *Аще ли ключитися украсти русину от грек* (Пов. вр. лет), <...>. Распространение безличных конструкций с глаголами на *-ся*, означающими состояние субъ-

екта, нужно отнести к позднему периоду древнерусской письменности. Так, в Московском летописном своде, памятнике конца XV в., попадаются лишь отдельные примеры такого рода: *Выступите вон, дадите ми упокои, заснути ми ся хочеть*. В XVI-XVII вв. безличные конструкции с подобными глаголами уже более разнообразны. Так, ср. в посланиях Ивана Грозного: *Так же сам, любезне, како? спееет ли ти ся?* (т.е. «успевается ли тебе?»). Иван Пересветов и другие авторы произведений XVI в. употребляют форму *видится* (*люто ли тебе видится*), у Аввакума (XVII в.) находим формы *заплачется, погрешитя* и др.

Безличный характер конструкции не был еще в ранний период письменности единственным и даже наиболее характерным способом выражения отсутствия чего-либо. Ср., например, параллельное употребление безличной и личной конструкций на одной и той же странице “Повести временных лет”: *Брака у них (древлян) не бываше; И браци не бываху въ них, но игрища межю селы.* <...> Личные конструкции такого рода в повествовательных жанрах письменности встречались еще в XV в.: *А не бѣ никто же от града* (Моск. лет.).

С другой стороны, определенные типы безличных предложений имели в прошлом более широкое распространение, чем в современном литературном языке и даже отличались бóльшими конструктивными разновидностями. Прежде всего это нужно сказать о конструкциях со страдательными причастиями среднего рода в роли главного члена, причем соответствующие причастия наблюдались не только от глаголов совершенного, но и от глаголов несовершенного вида (что в дальнейшем утрачивалось в языке). Правда, в ранних памятниках круг таких причастий был ограниченным лексически (чаще всего наблюдались причастия от глагола *писати* и глаголов приказания, другие – редко). Например: *Писано бо есть: возверзи на Господа печаль свою* (Сл. Дан. Зат.); *Повелѣно бысть блаженному Феодосію предстоати и слуговати* (Пат. Печ.) <...>.

Древнерусский язык отличался и весьма широким распространением предложений с независимым инфинитивом (выделяемых в современном синтаксисе в раздел инфинитивных), которые обладали разнообразной модальной окраской. <...> Приведем лишь те примеры, где инфинитивное предложение не является придаточной частью сложного, поскольку в последнем случае они отличались определенным своеобразием. В языке деловых документов очень часты инфинитивные предложения, означающие предписание, которое необходимо выполнять: *Держати ти Новгородъ по пошлинѣ, како держалъ отецъ твои* (Новг. грам), <...>.

Широко распространены инфинитивные предложения с модальным оттенком неизбежности: <...> в «Слове о полку Игореве»: *О! Стонати Руской земли, помянувшие пръвую годину и пръвых князей*. Подобных примеров в произведениях повествовательных жанров очень много.

Наибольшим своеобразием древнерусского языка в области инфинитивных предложений является широкое распространение соответствующих предложений с модальным оттенком возможности действия: *...Родится пшеница и ячмень изрядно: одну кадь с ѡявше и пакы взяти кадей 90 или 100* (Иг. Дан.). <...> Обилие инфинитивных конструкций с модальностью возможности можно отметить в письменности вплоть до XVII в., тогда как в современном языке, как известно, предложения с независимым инфинитивом могут иметь соответствующий модальный оттенок лишь при отрицании (оттенок невозможности). Ср. у Н. А. Некрасова: *Не догнать тебе бешеной тройки*. <...>

Следовательно, общим итогом рассмотрения безличных предложений может быть вывод о том, что в период письменности происходит окончательное формирование и распространение употребительности отдельных типов этих предложений (таковы предложения с безлично-предикативными наречиями, безличными глаголами, конструкции, утверждающие отсутствие чего-либо), уход из языка некоторых разновидностей безличных предложений (предложения с инфинитивом в сочетании с глаголом *быти* или без нее, имеющие модальный оттенок возможности), а также развитие отдельных разновидностей в пределах диалектов (предложения со страдательными причастиями среднего рода).

¹ В. Л. Георгиева. История синтаксических явлений русского языка. М., 1968, с. 13-19.

П. С. Кузнецов

К ИСТОРИИ ФОРМ 3-ГО ЛИЦА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ¹

Для истории форм 3-го лица ед. и мн. числа настоящего времени глагола наиболее существенны два вопроса, в известной мере между собою связанные: 1) вопрос об отвердении *-t*, ставшего конечным в результате падения редуцированных, и 2) вопрос о возможном отсутствии *-t* в этих формах. Несмотря на известное количество работ, посвященных этим формам, опубликованных в прошлом и в последние годы, не все здесь может считаться решенным.

Основной формой окончания 3 л. ед. и мн. ч. в древнерусском языке эпохи древнейших дошедших до нас памятников, независимо от терри-

тории их написания, являлось *-tb*, причем написание *-mь*, передающее это окончание, наблюдается не только в оригинальных памятниках, но и (в подавляющем большинстве) в памятниках, списанных с южнославянских оригиналов. Это написание отражено и во вновь найденных за последние годы новгородских берестяных грамотах (наряду с отсутствием *-t*, о котором ниже). Ввиду того, что согласные в древнерусском языке в положении перед *ь* рано начали подвергаться непереходному смягчению, после падения редуцированных это окончание являлось в виде *-t'*. Мягкое *-t'* (с возможным последующим фонетическим изменением его в *c'*) сохраняются и в настоящее время на большей части восточнославянской территории. На части же этой территории, именно в северновеликорусском наречии и в части средневеликорусских говоров, на протяжении истории русского языка *-t'* мягкое в этом окончании сменяется *-t* твердым. В письменности это явление, начиная с XIII века, отражается в написании *-mь* (вместо старого *-mь*) в оригинальных памятниках, не подвергшихся южнославянскому влиянию.

<...> Эта смена *-t'* мягкого на *-t* твердое разными исследователями объяснялась различно. А. А. Шахматов полагал, что она представляла собой фонетический процесс и что в ней отражается общая тенденция замены в конце слова мягких согласных твердыми. Наблюдающееся и в северных говорах сохранение мягких согласных в определенных категориях и в конечном положении он объяснял процессами аналогического порядка². Против фонетического объяснения высказывается С. П. Обнорский <...> и выдвигает морфологическое объяснение, согласно которому твердое *-t* генетически представляет собой член указательно-местоименного происхождения, вследствие чего формы с твердым *-t* выступали первоначально как формы определенные, противостоя формам без окончаний как неопределенным³. <...>

Объяснение появления в рассматриваемом окончании твердого *-t* как результата фонетического процесса имеет под собой определенную почву и не может быть просто отведено. <...> Отверждение согласных, которые некогда смягчались перед последующим *ь*, а затем, в результате утраты его, стали конечными, с артикуляционной точки зрения вполне понятно. В артикуляционном отношении русский язык характеризуется так наз. тихим отступом, т.е. постепенным переходом органов речи от состояния напряжения, при котором осуществляются те или иные речевые работы, к состоянию покоя. Это свойство было характерно для русского языка, по-видимому, уже в достаточно давнее время. С этим связана тенденция конечных согласных к редукции, к ослаблению артикуляции, служащей для их образования. Твердые же согласные произносятся

с меньшим напряжением, чем мягкие (нет дополнительного подъема средней части спинки языка, да и самые органы, образующие преграды, артикулируют с меньшей энергией). <...>

Однако существуют определенные данные и в пользу морфологического объяснения. Воздействие указательного местоимения *тъ* на форму 3-го лица глагола на протяжении истории русского языка легко могло иметь место, поскольку в древнерусском языке это местоимение, в отличие от современного языка, часто использовалось как подлежащее (в настоящее время местоимение *тот*, развившееся на основе древнего *тъ*, в основном используется в качестве определения и лишь в весьма ограниченных случаях в качестве подлежащего и дополнения). Ср., например: *и то е запечатаеть* (Лавр. лет.) – в Академическом списке *тъ*; *–ты слышаще дивляху сѧ* (там же). В большинстве северных говоров, а также в литературном языке *–t* твердое характеризует глагольные окончания как единственного, так и множественного числа. Если верно предположение, что твердое *–t* появилось здесь под воздействием указанного местоимения, это твердое *–t* должно было сначала распространиться в единственном числе, а затем уже во множественном. О том, что процесс распространения шёл в такой последовательности, свидетельствуют некоторые олонечские говоры, где в единственном числе, а также во множественном числе глаголов II спряжения наблюдается *–t* твердое, во множественном же числе глаголов I спряжения сохраняется мягкое *–t'* (т.е. говорят *идут'*, *несут'* и т. под. В этих же говорах наблюдаются и формы без *–t*, но во множественном числе глаголы I спряжения характеризуются постоянным наличием *–t'*. <...>. В значительной части современных русских говоров, а также в других восточнославянских языках, наряду с формами с *–t* твердым или мягким (или с рефлексом мягкого *–t'–c'*), имеются формы 3-го лица ед. и мн. числа без *–t* (в немногих говорах эти формы господствуют исключительно). По вопросу о древности этих форм существуют различные точки зрения.

Так, С. П. Обнорский относит формы без *–t* к глубокой древности и даже прямо говорит, что они не менее древни в русском языке, чем формы с приставочным *–t'*. Напротив, Т.П. Ломтев дважды, в рецензии на «Очерки по морфологии русского глагола» С. П. Обнорского и в рецензии на мою «Историческую морфологию»⁵, высказывался за сравнительно недавнее происхождение этих форм. Основным доказательством, приведённым в обеих рецензиях, является постоянное наличие *–t* или его рефлексов в возвратных формах 3-го лица даже в тех говорах, где вообще представлены формы без *–t*, тогда как агглютинация возвратного местоимения с глагольной формой осуществилась, как известно, довольно

поздно (следы свободного употребления возвратного местоимения, ставшего уже возвратной частицей, представлены даже в памятниках ХУП века, хотя, вероятно, уже как архаизм).

В действительности формы без *-t* встречаются уже в древнейших русских памятниках, правда, распространены они там не равномерно и засвидетельствованы не во всех, что, вероятно, говорит о том, что не во всех древнерусских говорах они были распространены в равной мере, а в некоторых, возможно, и вообще отсутствовали. Так, уже в записи Остромирова евангелия представлена форма 3 л ед. ч. настоящего (по значению простого будущего) времени *напише*. <...>

Это различное распространение форм без *-t* по разным категориям приводит к мысли о том, что не все они сложились одновременно. Лишь часть из них восходит к глубокой древности, другие же возникли позднее. Формы без *-t* особенно широко распространены в единственном числе I спряжения. Можно думать, что их возникновение и относится к глубокой древности. На наибольшую древность именно этих форм указывает и сравнение с некоторыми другими славянскими языками. На наибольшую древность именно этих форм, возводя их ещё к праславянскому языку, указывал А. М. Селищев в рецензии на «Очерк истории русского языка» Н. Н. Дурново⁶. <...>

В явлениях конца слова отражается обычно весьма сложное взаимодействие факторов фонетического и морфологического порядка. Это имеет место и в истории рассматриваемого окончания. Морфологические процессы могут нарушать фонетические закономерности, могут ограничивать их действие. Но фонетические тенденции могут ограничивать действие морфологических процессов. Так, например, конечные губные в ряде говоров и в литературном языке сохранили в ряде случаев мягкость на конце слова в результате морфологических обобщений. Но в значительной части говоров эти губные отвердели независимо от того, в какой морфологической категории они выступают. И такие говоры шире представлены в северновеликорусской области, где в большей степени проявилась тенденция к отвердению конечных согласных. В некоторых же случаях фонетические и морфологические процессы могут дополнять друг друга, приводить к одним и тем же или подобным результатам. Это могло иметь место и в смене *-t'* мягкого *-t* твердым и в распространении форм без *-t*.

¹ Кузнецов П. С. К истории форм 3-го лица настоящего времени глагола в русском языке. —Slavia, XXV/2, 1956, с. 175-183.

² Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. П., 1915, с. 320; ср. Н. Дурново, Очерк истории русского языка. 1924, с. 208-209.

³ Обнорский С. П. Образование глагольных форм 3 л. настоящего времени в русском языке. – Известия АН СССР, Отделение литературы и языка. 1941, кн. 3; Очерки по морфологии русского глагола. 1953, с. 129-137.

⁴ Там же, с. 133.

⁵ Русский язык в школе, 1954, № 5; Вопросы языкознания, 1954, № 5.

⁶ Известия Отделения русского языка и словесности, т. XXXII (1927), с. 328-329.

Т. П. Ломтев

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ СИНТАКСИСУ РУССКОГО ЯЗЫКА

Глава XIV

Сложное предложение¹

<...> В науке о сложном предложении выделена проблема сочинения и подчинения и высказано положение о том, что подчинение развивается из сочинения как исходной формы речи и за счет сочинения. Это распространенное учение о происхождении подчинения из сочинения объединяет в одном понятии два противоположных явления: сочинение и грамматическую связь однородного следования неоднородных предложений. На этом основании выводится умозаключение о происхождении подчинения из сочинения.

Наблюдения показывают, что подчинение вычленяется из грамматической связи однородного следования путем парного объединения предложений, причем в функции придаточного обычно закрепляется предложение, имеющее косвенную модальность, т.е. выражающее вопрос, повеление или пожелание.

<...> Грамматическая связь однородного следования неоднородных предложений не выражала сложных и расчлененных связей между определенными предложениями, следующими друг за другом. Потребность иметь сложные предложения приводила к тому, что простые предложения с косвенным (неповествовательным) модальным планом втягивались в более тесную связь с другими предложениями; утрачивая свой прежний косвенный модальный план, они становились на службу к другому предложению или сами становились главными, при которых повествовательные предложения выступали в роли придаточных.

Ср.: Сии же многы пожары бывають грѣхъ ради нашихъ, да ся быхомъ покаяли от злѡбъ своихъ (Комис. сп. I Новг. л.).

Во втором подчеркнутом предложении сказуемое выражено сослагательной формой глагола и обозначает пожелание, а в первом предложении — повествовательной формой глагола. Предложение с косвенным модальным планом начинает соотноситься с глаголом повествовательного предложения, получает значение средства для выражения цели действия, выраженного глаголом этого предложения; тем самым оно переходит на позицию придаточного предложения цели.

<...> Сложноподчиненные предложения складывались главным образом путем парного объединения предложений повествовательного и косвенного модальных планов или предложений косвенных модальных планов.

В сложноподчиненных предложениях типа *Я не знаю, куда он пошел, где он был, что он делал* придаточные предложения представляют собой по происхождению вопросительные предложения, которые приняли на себя функцию изъяснения глагола предшествовавшего повествовательного предложения и тем самым перешли на позицию придаточного предложения. В этих придаточных предложениях союзные слова представляют собой по происхождению вопросительные наречия и местоимения. <...>

Тот факт, что союзные слова придаточных предложений не возникали из сочинительных союзов, доказывает, что подчинительная связь не возникала из сочинительной связи, что сложноподчиненные предложения не возникали из сложносочиненных предложений. Проф. Л. П. Якубинский, отстаивающий теорию о происхождении подчинения из сочинения, сам признает, что подчинительные союзы образовались не из сочинительных союзов. Он пишет: «Сравнивая между собою русские сочинительные и подчинительные союзы, мы убеждаемся, что объяснение сочинительных союзов вроде *и, но, да* представляет значительные трудности и требует специального монографического исследования; в то же время объяснение подчинительных союзов вроде *что, чтобы, так как, потому что, который, когда, если* и др. не представляет никаких затруднений: это в большинстве случаев вчерашние местоименные наречия и их комбинации между собою или с частицами»².

Из этого следует, что подчинительные союзы по своему происхождению не связаны с сочинительными союзами. Чем же объяснить тот факт, что в функции придаточных обычно использовались предложения, имеющие косвенную модальность? Это объясняется тем, что предложения с косвенной модальностью содержат в себе такую семантику, которая делает возможным свободное использование их в качестве придаточных.

<...> В русском языке в функции придаточных цели закрепились предложения с формой "бы плюс причастие на -ль", которые в самостоятельном употреблении также выражали пожелание, ср.: (Князь же Юрьи пришедь отъ Выбора, и поиде на Низъ) и много моли новгородцовъ, да бы проводилъ. Комис. сп. I Новг. л.

Последнее предложение первоначально выражало пожелание третьим лицам — "да проводили бы они его". От этого значения понятен переход рассматриваемого предложения с самостоятельной позиции на позицию выражения цели действия глагола другого предложения, адресованной третьим лицам — "дабы проводили его".

Форма *бы*, представлявшая собой аорист от глагола *быть*, в сочетании с предшествующей частицей *да* образовала союз *дабы*. Таким образом, форма *бы*, являющаяся показателем сослагательного наклонения глагола, выразившего пожелание, получает в сочетании с частицей *да* союзное назначение с того времени, с какого предложение с этой формой глагола получает изъявительную модальность на позиции придаточного цели.

Таким образом, для того, чтобы форма, выражающая косвенную модальность, получила союзное назначение, достаточно того, чтобы предложение с косвенной модальностью получило повествовательную модальность при обслуживании члена другого предложения.

В современном русском языке имеются целые серии таких отношений, при которых одно и то же предложение в одной позиции имеет косвенную, а в другой позиции повествовательную модальность; в связи с этим одна и та же словесная форма в одном случае имеет модальное, а во втором случае — союзное значение, ср.: *Я спросил: "Куда он ушел?" и Я не знал, куда он ушел ... <...>*

Таким образом, причина преимущественного использования в древнерусском языке предложений с косвенной модальностью в позиции придаточных предложений заключается в том, что переход этих предложений на указанную позицию ясно мотивирован в смысловом отношении и не встречает препятствий со стороны системного характера языка: одна и та же структурная система может в одних условиях функционировать как придаточное предложение с повествовательной модальностью, а в других условиях как самостоятельное предложение с косвенной модальностью.

Предложения с повествовательной модальностью не могут быть с такою же свободой одновременно использованы в системе языка в самостоятельной позиции и в позиции придаточного предложения.

Самостоятельные предложения, имеющие повествовательную модальность, могут перейти на позицию придаточных только при особых условиях. Предложения с относительными местоимениями *и-же*, *ѡ-же*, *к-же* засвидетельствованы в древнейших памятниках в качестве придаточных. При чем местоимения *и-же*, *ѡ-же*, *к-же* получили с течением времени атрибутивно-относительную функцию, а в функции грамматического предмета с относительным значением стали постепенно закрепляться местоимения *он*, *она*, *оно*. Это создавало условия, при которых два предложения могли объединиться в одно сложноподчиненное предложение, причем то предложение, которое имело в своем составе атрибутивно-относительное местоимение *и*, *ѡ*, *к*, усиленное частицей *же*, становилось придаточным определительным, ср.: Се есть новый Костянтинъ великого Рима, иже крестися самъ и люди своя (ПВЛ). Предложение с местоимением *и-же* было бы самостоятельным, если бы форма *и-же* осмыслялась как грамматический предмет в соответствии с современным *он*. В этом случае указанное предложение можно было бы понять как "Он крестится сам и люди своя". Но по мере того, как форма *и-же* утрачивала значение грамматического предмета и приобретала атрибутивно-относительное значение, все предложение, в составе которого она находилась, закреплялось в качестве придаточного, получившего смысл "который крестится сам и люди своя".

<...> Таким образом, повествовательные предложения могут перейти на позицию придаточных только при исключительных условиях.

Сложносочиненные предложения оформлялись главным образом на базе грамматической связи однородного следования предложений повествовательного характера. Эта связь была нерасчлененной и не выражала всех тех отношений, которые выражаются в современном русском языке разветвленной системой сложносочиненных предложений.

Ряд союзов употреблялся в функции показателей однородного следования данного предложения за предшествующим однородным или неоднородным предложением. Тем самым такой союз выступал в роли показателя зачина предложения. В роли показателя зачина предложения и следования его за предшествующим предложением употреблялись союзы *а*, *и*, *да*, а также частица *же*, например:

А кто бяше въбегль въ камяныя божнице съ товары, а ту изгорѣша и сами съ товары; а въ Варязьской божници изгорѣ товаръ весь варязьскый бещисла, а церквии съгорѣ 15 (Новг. л., Син. сп.). <...>

Дальнейшее развитие заключалось в отмирании грамматической связи однородного следования неоднородных повествовательных предложений и в закреплении разных типов парных связей предложений.

Необходимость установить парные отношения между неоднородными, следующими друг за другом, предложениями требует устранения многочленной грамматической связи неоднородного следования одного повествовательного предложения за другим: потребности нового обрекают на отмирание эту грамматическую связь; на смену ей приходит парная связь предложений, в которой находят оформление определенные отношения между определенными предложениями. <...>

Членение рассматриваемого текста на пары может быть разным. Разные пары, образующие собой разные сложносочиненные предложения, в соответствии с однородною цепью следования, выражают разные оттенки, которые не могут быть выражены грамматическою связью однородного следования неоднородных предложений, ср.:

Исполчишася Русь, и бысть сѣча велика. Одолѣ Святославъ, и бѣжаша грѣци. Святославъ поиде ко граду.

Или:

Исполчишася Русь. Бысть сѣча велика и одолѣ Святославъ. Бѣжаша грѣци и поиде Святославъ ко граду.

Вариантов вычленения парных сложносочиненных предложений, которые выдвигались на смену старым многочисленным связям, может быть много. Они способны выражать и доносить до собеседника более тонкие оттенки мыслей, которые не в состоянии передать многочленная грамматическая связь однородного следования неоднородных предложений. Замена этой грамматической связи любыми парами предложений, каждая из которых образует одно сложносочиненное предложение, не будет адекватна по оттенкам выражаемых мыслей. Во всякой новой замене будут новые оттенки содержания. Но именно в этом обнаруживается превосходство парных сложносочиненных предложений по сравнению с многочленной грамматической связью однородного следования неоднородных предложений.

Рассматриваемый вид парной связи предложений получил название сочинительной связи. <...>

Таким образом, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения являются элементом нового качества в историческом развитии русского языка. Формы сложносочиненных и сложноподчиненных предложений равно необходимы в современном русском языке. Сочинение и подчинение представляют собой равно развивающиеся направления совершенствования сложного предложения.

¹ Ломтев Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956.

² Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 266.

В. Б. Силина

ИСТОРИЯ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА¹

Некоторые выводы

<...> Изучение морфологической истории категории глагольного вида позволило выявить основные закономерности развития этой категории в плане выражения и охарактеризовать главные процессы, которыми это развитие сопровождалось. Предметом исследования явилась история центрального, наиболее формализованного звена русской видовой системы – приставочных видовых корреляций русского глагола.

То обстоятельство, что именно в сфере приставочных глаголов сформировались собственно видовые различия и сложились основные средства их выражения, определяло выбор этой сферы в качестве материала для исследования.

Рассмотрение развития средств выражения видовых различий показало, что главным стержнем морфологической системы русского глагольного вида была суффиксальная имперфективация. Уже в исходной системе др.-рус. языка было представлено большое количество сосуществовавших друг с другом средств выражения имперфективного значения у глаголов. На протяжении всего др.-рус. периода шел поиск наиболее совершенного и выразительного средства имперфективации. Сосуществование старых и новых имперфективных форм в качестве вариантов продолжалось в течение довольно длительного периода (у некоторых глаголов иногда вплоть до начала XIX в.), но оно не было мирным: между вариантами шла конкурентная борьба. Преимущество в ней имели те формы, которые были образованы при помощи монофункциональных специализированных средств имперфективации с четкой структурой. В основном, это были неоднородные глагольные суф.: *-ва-*, *-ива/-ыва*.

Вследствие многообразия имперфективных форм, образованных по различным моделям имперфективации, видовые корреляции как в исходной системе др.-рус. языка, так и на протяжении всего др.-рус. и ст.-рус. периода имели, как правило, многочленный характер. Если имперфективные формы обладали с самого начала четкой видовой семантикой, то противостояли им первоначально формы, зачастую еще не имевшие достаточно определенного перфективного значения и развившие его позднее. Важно, однако, то, что в плане содержания видовая оппозиция имела с самого своего возникновения бинарный характер.

В процессе развития и упорядочения видовой системы семантический и формальный план приходили в соответствие: многочленные корреляции превращались в двучленные. Преодоление вариантности как перфективных, так и имперфективных членов корреляций шло сложными путями, различными для отдельных корней и групп глаголов. Морфологическая эволюция ряда глаголов во многом определялась индивидуальным движением глагольных лексем по пути развития видовых значений и перераспределением их между различными типами видовых корреляций. В процессе взаимодействия вариантных форм происходило не только вытеснение одних вариантов другими, но и контаминация форм двух вариантов, сводившая их в одну лексему (ср. совр. глаголы *давать*, *вставать* и т. п.).

Уже в др.-рус. языке наметилась тенденция к перфективации некоторых старых имперфективов, в основном образованных по моделям имперфективации, утратившим свою продуктивность (*прочитати, рассчитати, заклепати, прободати* и т.п.). В отдельных случаях действию этой тенденции подвергались даже имперфективы, образованные по моделям, которые остались продуктивными (*размѣняти, расстрѣляти, смѣшати* и т.п.). Однако эта тенденция действовала в основном лишь sporadически, применительно к отдельным лексемам. Характерно, что вне сферы действия этой тенденции оказались лишь имперфективы, образованные по наиболее новой модели имперфективации – глаголы с суф. *-ива-*, который почти в полном объеме сохранил свою продуктивность до наших дней. Тем не менее процесс перфективации старых имперфективов шел на лексико-словообразовательном уровне достаточно активно и оказал определенное влияние на состав современных видовых пар.

Именно наличие этого процесса в истории русского глагольного вида позволило установить относительную хронологию появления основных моделей суффиксальной имперфективации глаголов.

Выявление этого процесса позволяет также отметить принципиальное значение разграничения двух рядов глаголов, не имевших на различных этапах развития видовой системы четкой видовой принадлежности. В древнейший период исторического развития глагольного вида таковыми являлись глаголы общего вида, еще не оформившиеся в глаголы сов. вида, в основном бесприставочные, но отчасти и приставочные. Позднее, уже в конце др.-рус. периода, нехарактеризованность по виду отдельных глагольных лексем была почти ликвидирована и основная масса глаголов общего вида влилась в видовую систему (исключение в ту эпоху составляли лишь немногие глаголы, получившие в современном русском лите-

ратурном языке название "двувидовых": *венчать, женить, казнить* и т.п.). В это время нечеткая видовая принадлежность обнаруживается у тех глаголов, которые оказались втянутыми в процесс перфективации старых имперфективов. Вторичность этого процесса выявляется при анализе языка наиболее древних памятников письменности. Как правило, старые имперфективы выступают в языке этих памятников еще в имперфективном значении, хотя находятся и примеры, свидетельствующие о начале указанного процесса. Чем древнее был имперфектив и модель, по которой он был образован, тем ранее он включался в процесс перфективации (например, *выметати, проскакати* и т.п.). Ст.-рус. период демонстрирует активное действие этого процесса и увеличение количества вторичных двувидовых глаголов. По-видимому, подобная двувидовость исчезает лишь к середине ХУШ в., и этот ряд глаголов полностью переходит в сферу глаголов сов. вида. Это повлекло за собой перестройку ряда старых видовых корреляций: иногда вторичные перфективы вытесняли старый перфективный коррелят и занимали его место (*прободати – пробадати, заклепти – заклепати* и т.п.), реже – расходились с ним лексически и образовывали новую корреляцию с участием более нового имперфектива (*провести – проводить – провожать*). В отдельных случаях сохранилась вариантность первичного и вторичного перфективов (*прочесть – прочитатъ*).

Следует отметить, что основные процессы, происходившие в ходе развития видовой системы русского языка, были различным образом соотношены с планом выражения и планом содержания. Так, процесс упорядочения системы видовых корреляций и ликвидации их многочисленности происходил в основном в плане выражения. Семантическое содержание участвовавших в нем глагольных лексем оставалось практически тем же, так как суть этого процесса состояла в свертывании избыточных звеньев этой системы без семантической перестройки оставшихся звеньев.

Процесс перфективации старых имперфективов, напротив, сопровождался именно семантической перестройкой тех единиц, которые подвергались его воздействию. Поэтому его реализация затрагивала план содержания самым непосредственным образом. С другой стороны, истоки этого процесса надо искать в плане выражения, так как породило его движение видовой системы по пути поиска новых средств имперфективации.

Преимущественно в плане содержания и практически за пределами плана выражения происходил еще один процесс, который сыграл важную роль в становлении современной видовой системы русского глагола. Речь идет о появлении у ряда глагольных приставок видообразующей

функции. После включения глаголов общего вида в сферу перфективации создалось такое положение, когда все снабженные приставками глаголы, от которых были образованы производные имперфективы, стали глаголами сов. вида. По мере распространения видовых отношений на всю без исключения глагольную лексику стали осмысляться в видовом плане и соотношения простого и однокоренного с ним приставочного глагола (*дѣлать* – *сдѣлать*, *писать* – *написать* и т.п.). При этом оказались нерелевантными, как бы вынесенными за скобки, все лексико-словообразовательные значения, которые приставка сообщала исходному глаголу. Эта психологическая нейтрализация семантических компонентов, вносимых в значение глагола приставкой, сделала соотношения типа *дѣлать* – *сдѣлать*, *писать* – *написать* соотношением глаголов несов. и сов. вида, т.е. в сущности видовой корреляцией. <...>

Чем весомее был тот семантический компонент, который подвергался нейтрализации, тем труднее было оформиться приставочно-бесприставочным корреляциям. Если словообразовательное значение приставки было достаточно определенным и выразительным, то производный имперфектив, как правило, в языке сохранялся. Ср. корреляции *доделать* – *доделывать*, *переписать* – *переписывать*. Их наличие не позволяет считать видовыми корреляциями соотношения *делать* – *доделать*, *писать* – *переписать*. Некоторые современные аспектологи называют их "приблизительными" видовыми парами.

Таким образом, процесс осмысления приставок как видообразующего средства носил отчасти ассоциативно-психологический характер и происходил на семасиологическом уровне. <...> Выход этого процесса в план выражения состоял в утрате языком ставших избыточными имперфективов типа *сдѣлывать*, *написывать* и т.д.

Аналогичным образом на ассоциативно-психологической основе протекал и процесс включения в видовую систему простых бесприставочных глаголов. О том, что он так полностью и не завершился, свидетельствует наличие в современном русском литературном языке так называемых двувидовых (а точнее – нехарактеризованных по виду) глаголов: *велеть*, *венчать*, *женить*, *казнить* и т.п. Интересно, что в русских диалектах этот процесс пошел дальше, чем в литературном языке. Активное употребление приставочных образований типа *оженить*, *повенчать* приамур., *искаznить* новосиб., куйб., перм., свердл. (СРНГ) и т.п. делает в указанных говорах бесприставочные образования *венчать*, *женить*, *казнить* глаголами несов. вида.

Процесс внутренней перестройки семантики простых глаголов и поляризации видовых значений в соотношении простого и приставочного

глаголов, который происходил при превращении этого соотношения в видовую пару, имел вторичный характер, так как мог начаться только после стабилизации сферы сов. вида, которая произошла сравнительно поздно, уже на собственно др.-рус. почве. Эта вторичность, а также семантико-ассоциативная сущность процесса приобретения глагольными приставками видообразующей функции выводят эти процессы за рамки собственно морфологической проблематики, связанной с развитием глагольного вида, которая находилась в центре внимания исследования.

Существенную роль в становлении русского глагольного вида и в создании его категориального статуса сыграли те обстоятельства, что на выбор имперфективного члена закрепившихся в современном русском литературном языке видовых корреляций повлиял нормативно-узуальный фактор и что ряд процессов, охарактеризованных выше, имел избирательный характер (т.е. действовал применительно к отдельным лексемам или видовым корреляциям). Действие этих факторов пресекло возникшую было тенденцию к полной формализации русского глагольного вида и сообщило этой категории классификационный характер. <...>

¹ Силина В. Б. История категории глагольного вида. – Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 158-279.

М. В. Шульга

УНИФИКАЦИЯ РУССКОГО СУБСТАНТИВНОГО СКЛОНЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРУКТУРЫ РОДОВЫХ И ЧИСЛОВЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ¹

История именного склонения в существенных своих чертах представляет собой историю устранения (точнее: ограничения, сокращения) синонимии падежных флексий. Унификация синонимических морфологических средств – это один из путей реализации более общей тенденции языкового развития, "тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения" /2/.

Ограничение синонимии падежных флексий в истории русского языка связано в основном с выражением грамматических значений рода и числа. <...>

Как это характерно для языков синтетическо-флективного строя, значения рода, числа и падежа в русском языке выражаются синкретически. Каждая флексия является членом нескольких оппозиций: по роду, числу и падежу. Многофункциональность флексии предопределяет тес-

нейшую взаимосвязь и взаимообусловленность многих морфологических процессов, отражающихся во флексии. Изменения в выражении, например, родовых грамматических значений так или иначе отражаются на системе числовых и падежных противопоставлений. В связи с этим направление причинно-следственных связей в грамматическом развитии тесно спаянных языковых категорий часто бывает неясным. Этим оправдана настоящая попытка очертить и разграничить сферу действия категории рода и числа в области устранения синонимии падежных флексий.

О морфологическом выражении какой-то грамматической категории можно говорить тогда, когда в системе языка разным категориальным грамматическим значениям соответствуют разные морфемы. Последовательное выражение грамматической категории исключает морфологическую омонимию. С этой точки зрения обращает на себя внимание тот факт, что омонимия средств морфологического выражения категорий рода и числа преодолевается не в одних и тех же звеньях системы. Другими словами, родовые и числовые противопоставления на морфологическом уровне организованы по-разному.

Остановимся на структурной организации родовых противопоставлений.

Ни в одной отдельно взятой падежной форме (так сказать, в горизонтальном ряду) родовые значения последовательно не дифференцированы. В каждой из форм наблюдается омонимия флексий по отношению к роду, по крайней мере, частичная. Например, в форме И. ед. в древнерусском языке по флексии не различаются слова муж. и жен. рода типа *гость* и *кость*, или *земля* и *уноша*, или *камы/камень* и *цьрки/цьрквь*. Примером полной омонимии может служить форма М. ед., где каждая из флексий (*-ѣ*, *-и* и *-е*) употребляется и в муж., и в жен., и в ср. роде (плод *ѣ*, стран *ѣ*, сел *ѣ*, кони, гости, земли, кости; камене, матере, цьркьве, словесе, имене). На этом основании во многих работах делается вывод о непоследовательном, необязательном, факультативном выражении грамматического рода на морфологическом уровне.

По-видимому, дело обстоит несколько иначе. Морфологически значения грамматического рода выражаются не в горизонтальном ряду, а в вертикальном, т.е. не в каждой отдельно взятой падежной словоформе, а во всей совокупности падежно-числовых форм существительного, в его полной парадигме.

В этом отношении по-разному охарактеризованы существительные, у которых род семантически не мотивирован (например, *плодь*, *страна*, *село*), и существительные, у которых род отражает семантику пола (*отць*, *воевода*). Для первых морфологическое выражение грамматиче-

ского рода обязательно уже в исходной системе древнерусского языка. Системы падежно-числовых форм любых двух таких слов разного грамматического рода непременно различаются (минимально – двумя членами парадигм, как парадигма типа *путь – кость*: Т. ед. *путьь* но *костю*, И. мн. *путье*, но *кости*, при общности всех остальных форм). Омонимии парадигм в отношении к роду здесь не наблюдается.

Естественно, что род как грамматическое (в частности, морфологическое) явление формируют существительные с семантически немотивированным значением рода. Именно они составляют трехчленное противопоставление (муж., жен. и ср. род), тогда как слова, у которых род отражает семантику пола, образуют лишь двучленное противопоставление (муж. и жен. род). В морфологическом аспекте специфика последних состоит в том, что последовательно (в парадигме) у них оформлено лишь значение жен. рода (*жсена, мати, свекры свекръвь*). Значение мужского грамматического рода на морфологическом уровне, т.е. в системе падежных флексий, может быть выражено (*отць*), но может и не выражаться, в этом случае названия лиц мужского пола оформляются по женскому морфологическому роду (*воевода, кърмьчи* как *сестра, кънягыни*).

Следовательно, в системе падежно-числовых форм выражение рода факультативно лишь для существительных, у которых род отражает семантику пола. Здесь можно, по-видимому, предполагать проявление принципа дополнительности: то, что обозначено на лексическом уровне, на морфологическом может и не обозначаться. Существительные с номинативным значением рода сохраняют своеобразие морфологического оформления на протяжении всей истории русского языка. Но для морфологической структуры рода они представляют собой в общем-то периферийное явление.

Грамматические значения категории числа морфологически организованы иначе, чем родовые. Противопоставление по числу обнаруживается в горизонтальном ряду: каждая отдельно взятая падежная словоформа морфологически однозначно обозначает то или иное числовое значение. Каждая флексия является одновременно и падежным, и числовым (следовательно, падежно-числовым) показателем. Ср.: И.п. *столь* – ед.ч., *стола* – дв.ч., *столи* – мн.ч. Морфологическим показателям числа не свойственна омонимия.

Если верны эти наблюдения над структурной организацией родовых и числовых противопоставлений как противопоставлений вертикального и горизонтального рядов, то с их позиций по-разному предстает и сфера морфологической синонимии категорий рода и числа. Родовая синонимия – это множество падежно-числовых парадигм существительных од-

ного грамматического рода, например, в мужском роде парадигм *плодь, конь, медь, староста, судии, уноша, гость, камы/камень, дънь*. Ее преодоление должно выражаться в объединении всех этих парадигм в одну парадигму.

Числовая синонимия создается набором флексий, соответствующих одному числовому значению в конкретной (и в каждой) падежной форме. Например, во мн. числе для И. падежа это синонимия флексий *-и, -ы, -ѣ, -е, -ове, -а*. Ее преодоление состоит в устранении этого многообразия флексий, в обобщении какой-то одной флексии в качестве морфологического показателя И. мн.

В ходе реализации тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения "взаимные интересы" обеих категорий пересекутся и наложатся в области устранения синонимии родовых парадигм. Действительно, установление однозначной связи между родом и парадигмой одновременно сокращает и упорядочивает синонимию числовых флексий. Если бы во мн. числе вместо десяти парадигм, функционировавших в древнерусском языке старшей поры, стало три (соответственно родовым значениям), это означало бы устранение синонимии родовых парадигм и – одновременно – сокращение синонимичных падежно-числовых форм. Ведь при этом каждому падежно-числовому значению соответствовало бы не более трех форм (муж., жен. и ср. рода), в отношении к значению числа синонимичных. Но дальнейшее устранение синонимии падежно-числовых форм могло бы осуществляться только за счет устранения родовых морфологических различий.

Устранение же родовой синонимии не предполагает устранения числовых противопоставлений. Числовые противопоставления включены в родовую парадигму, их последовательное морфологическое выражение увеличивает силу оппозиции родовых парадигм. Так, парадигма ср. рода типа *село* в ед. числе противопоставлена парадигме муж. рода типа *плодь* (И.-В. *село*, но *плодь*) менее выразительно, чем в совокупности форм всех трех чисел (ср.: И. мн. *села*, но *плоди*; В. мн. *села*, но *плоды*; И.-В. дв. *селѣ*, но *плода*).

Другими словами, устранение родовой синонимии не вступает в противоречие с выражением числовых значений и способствует сокращению синонимии падежно-числовых флексий. Последовательное же устранение числовой синонимии предполагает устранение (поглощение) родовых различий.

В этой ситуации наиболее ранних и последовательных преобразований следует ожидать в области унификации родовых парадигм, где сфера деятельности категорий рода и числа совпадает.

Именно так обстоит дело в древнерусском языке старшего периода. На этом этапе развитие субстантивного склонения предопределяется родовой классификацией существительных. — сокращение родовой синонимии осуществляется как взаимодействие, объединение парадигм существительных одного грамматического рода: парадигм муж. рода типа *плодь* и *медь*, *гость* и *камень*, а после установления фонологической корреляции твердых и мягких согласных — также *конь* и *гость*; ср. рода *село* и *слово*, жен. рода *кость* и *кръвь*. В ряду этих процессов следует рассматривать также объединение форм твердой и мягкой разновидностей, устранявшее различия между парадигмами, не связанные с грамматическим родом, и тем самым увеличивающее участие рода в классификации субстантивных парадигм. В результате всех этих преобразований происходит сокращение словоизменительных моделей каждого грамматического рода, при этом, вплоть до конца древнерусского периода, параллельно в ед., дв. и мн. числе.

Как вытекает из наблюдений над языком памятников XI-XIV вв., ограничение родовой синонимии осуществляется именно как унификация парадигм, а не отдельных падежных форм: взаимодействие любых двух словоизменительных моделей наблюдается во всех различающихся в этих моделях падежно-числовых формах. Это соответствует структурной организации родовых противопоставлений как противопоставлений вертикального ряда. Все эти процессы приводят к синонимии и родовых, и падежно-числовых показателей.

Преобразования такого рода сохраняют актуальность на протяжении всей истории русского языка и находят развитие в современных говорах, однако, с конца древнерусского периода ограничиваются формами ед. числа.

Приблизительно с XIII в. тенденция к однозначной соотнесенности грамматических числовых значений и способов их выражения вступает во второй этап развития — когда унификация падежно-числовых флексий осуществляется за счет устранения различий между родовыми парадигмами. Этот этап развития числовой синонимии связан исключительно с формами мн. числа.

Существеннейшие изменения в морфологической структуре категории числа вызваны изменениями в его грамматической семантике.

Грамматические значения форм числа — наименее разработанная область грамматической семантики, особенно в историческом аспекте. Однако как для современного русского языка, так и для древнерусского старшей поры представляется бесспорным, что отношения между формами числа не ограничиваются сферой выражения количественных зна-

чений. Количественные значения, представленные в формах ед., дв. и мн. числа конкретных считае­мых существительных – типа *плодь, дъва плода, плоди*, – являются лишь частным случаем в выражении инвариантных значений нерасчлененности/ расчлененности. Значения нерасчлененности/ расчлененности составляют двучленное противопоставление: ед. число, выражающее значение нерасчлененности, противопоставлено дв. и мн. числам, связанным со значением расчлененности. В значительной части имен существительных значение расчлененности могло быть выра­женным лишь в форме мн. числа (без двойственного). У существительных, лексическая семантика которых допускала идею счета, формы дв. и мн. числа по отношению к значению расчлененности были синони­мичными.

<...> Как развернутый морфологический процесс замещение форм дв. числа формами мн. числа отражается в письменности с XIII в. В ходе его развития категория рода утрачивает свои морфологические позиции в формах дв. числа. От XIII в. берут свое начало также некоторые важнейшие морфологические процессы, ведущие к сокращению позиций рода во мн. числе – ограничению синонимии флексий мн. числа за счет утра­ты родовых различий. В частности, обобщение форманта *-а-* в качестве показателя множественности в Д. и М. падежах, устранявшее родовые различия в этих формах: Д. *селамаъ, дворянамаъ* вместо *селомъ, дворяномъ*; М. *селахъ, дворянахъ* вместо *селѣхъ, дворяныхъ и дворянѣхъ*; ср. исконные формы *странамаъ, странамаъ*. А также объединение И. и В. падежей по форме В. падежа у слов муж. рода: в результате распространения в И. п. форм типа *плоды, меды, гости, камене* вместо прежних *столи, медове, гостие, камене*. В этой позиции устранялись различия между муж. и жен. родом; ср. исконные формы И.-В. мн.: *страны, кости, матери*.

Следует заметить, что в некоторых исследованиях эти преобразования рассматриваются как результат реализации тенденции к устранению родовых различий во мн. числе. Однако вряд ли может быть удовлетво­рительно объяснено возникновение такой тенденции – диаметрально противоположной тенденции к морфологическому выражению родовых значений, которая определяет развитие субстантивного склонения на протяжении древнерусского периода и позднее – развитие форм ед. числа. С другой стороны, развитие морфологического строя русского языка убеждает в том, что сложившиеся в системе языка отношения не изменяются беспричинно, они разрушаются лишь тогда, когда препятствуют реализации каких-то других актуализирующихся тенденций. В назван-

ных процессах устранение родовых различий во мн. числе оказывается "побочным" результатом в развитии категорий числа и падежа.

<...> Дальнейшая унификация синонимичных флексий во мн. числе приводит к утрате родовых различий и формированию специфического показателя множественности *-а-* в формах Д., Т. и М., а также отчасти И. (или И.-В.) падежей: *леса, лесам, лесами, лесах*. Формы мн. числа структурно организуются как особая по отношению к системе форм ед. числа парадигма, т.е. грамматические значения, связанные с формами мн. числа, получают выражение в парадигме, подобно родовым значениям в формах ед. числа.

Этим создаются предпосылки для формирования лексических различий между формами ед. и мн. числа, как в случаях типа *медь* и *медь*, расширяются условия для развития класса слов, обладающих лишь одной числовой парадигмой (*singularia tantum* и *pluralia tantum*).

В результате преобразований в системе форм мн. числа родовая парадигма, представлявшая собой в древнерусском языке систему падежно-числовых форм (т.е. систему падежных форм ед., дв. и мн. числа), сокращается ("укорачивается") до системы форм ед. числа. С этим связана утрата категорией рода характера обязательной грамматической категории. В древнерусском языке старшей поры вне рода не было существительных. Сравнивая с современным состоянием, особо следует подчеркнуть, что в этом отношении не составляли исключения и *pluralia tantum* – род у них находил регулярное выражение и на морфологическом, и на синтаксическом уровне (ср. *ти людие, ты сани, та ворота*, как *ти гостие, ты кости, та села*). В дальнейшей истории русского языка отдельные грамматические классы существительных оказываются неохарактеризованными по роду.

С учетом структуры родовых и числовых противопоставлений данное направление изменений в морфологическом выражении категорий числа и рода получает объяснение как результат реализации тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения за счет устранения синонимии последних. При этом устранение синонимии средств родовых и числовых противопоставлений предстает как параллельный, непрерывный в своем развитии процесс.

¹ Шульга М. В. Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений. – Вопросы языкознания, 1983, № 2, с. 118-122.

Л. П. Якубинский

ИЗ ИСТОРИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО¹

В древнерусском языке, как и в современном русском языке, существовали и краткие (нечленные, именные) прилагательные и полные (членные, местоименные). Но в древнерусском языке грамматическая функция и, следовательно, взаимное отношение этих двух видов прилагательных были иными, чем в современном русском языке. Система имени прилагательного в древнерусском, следовательно, качественно отличалась от системы имени прилагательного в современном русском языке.

В древнерусском, как и в современном русском языке, существовали прилагательные качественные и относительные. Но в то время как в современном языке относительные прилагательные могут существовать только в полной форме, в древнерусском языке относительные прилагательные выступали и в краткой и в полной форме.

Почему краткие прилагательные потеряли склонение в процессе развития русского языка? Почему относительные прилагательные выступают в современном языке лишь в полной форме? Чтобы ответить на оба эти вопроса, мы должны рассмотреть историю возникновения имен прилагательных вообще и происхождение полных и кратких прилагательных в особенности. Ответом на поставленные вопросы мы одновременно осветим далеко еще не ясную историю категории прилагательных в русском языке.

Имя прилагательное есть часть речи, обозначающая свойства-признаки предметов. Она развивается на основе синтаксической категории определения. Естественно, что предпосылки развития определения (прилагательного) создаются лишь по мере того, как говорящие научаются выделять те или иные свойства предметов, сравнивая эти предметы между собой, познавая один предмет через другой. <...> Отсюда ясно, что на первоначальном этапе развития определения нет и не может быть речи об особой категории слов, выражающих признаки предметов, – выразителем свойств является та же грамматическая категория имен, названий предметов. Отсюда ясно также, что в своем генезисе все прилагательные являются относительными, семантически производными от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризуются те или другие предметы.

Достаточно "поскоблить" любое качественное прилагательное, чтобы, при наличии соответствующего материала, открыть в нем отношение

к какому-то конкретному предмету. Так, русскому качественному прилагательному *крутой* (древнерусское *крутъ*, <...>) в литовском соответствует *krantas* – "берег"; понятие "крутого" строилось на основе образа "крутого берега"; сравните русское *берег*, старославянское *брѣгъ* и немецкое *Berg* – «гора». Лишь постепенно, с развитием отвлеченного мышления, признак обособляется как таковой и мыслится отдельно. Тогда образуется качественное прилагательное, в котором образ предмета уже отсутствует. Качественное прилагательное – категория более отвлеченная, чем относительное.

Из того, что было сказано выше, ясна глубокая генетическая связь между существительным как названием предмета и прилагательным как названием признака предмета, которое первоначально дается также через название предмета. Поэтому справедливо указывают на то, что между существительным и прилагательным первоначально нет никакого грамматического различия: обе грамматические категории выделяются из общей категории имени, которое используется то как название предмета, то как название признака. Первоначально группы имен, закрепляемых для обозначения признака, отграничиваются чисто лексически; определенные имена специализируются для обозначения признаков; так, например, в турецком языке слово *ak* – "белый", ничем не отличаясь по форме от существительного, закреплено для выражения понятия "белый". Это, так сказать, лексическое определение. Но уже рано возникают и синтаксические формы определения-прилагательного. Так, в том же турецком языке слово "железо" как и многие другие имена, может выступать и в качестве определения-прилагательного и в качестве имени существительного; в первом случае оно ставится перед определяемым именем и не склоняется, например *demir kapı* – "железная дверь", собственно "железо-дверь".

<...> То обстоятельство, что и в славянских языках некогда существовали способы выражения определения-прилагательного, свойственные турецкому языку, доказываются нашими архаичными по структуре приложениями, определениями-существительными типа *жар-птица*, *душа-человек*, *царь-девица* и др. Здесь в качестве определения выступает имя существительное, поставленное перед другим существительным и не склоняемое: *жар-птица*, *жар-птицы*, *жар-птице* и т.п.

Глубокая связь между существительными и прилагательными в славянских языках грамматически выражается прежде всего в том, что склонение прилагательных кратких, т.е. древнейшего слоя прилагательных, тождественно с склонением существительных с основой на **о**, **а**: *добръ*, *добра*, *добро* склоняются так же, как *столь*, *жена*, *село*.

<...> Полные прилагательные образовывались от кратких путем прибавления к кратким определенного местоимения **и, я, е**. Первоначально местоимение сохраняло свою полную значимость, и в выражении *добръ-и, добра-я, добро-е* различались две части – собственно прилагательное и указательное местоимение **и, я, е**, которое, хотя и ставилось при прилагательном, но относилось к определяемому имени существительному. Функционируя в качестве определенного члена к этому имени: в *добра-я жена, я* относилось к *жена*, указывая не нее как на определенный, известный упомянутый предмет. Таким образом, наличие местоимений при прилагательных в одних случаях и отсутствие их в других первоначально выражало категорию определенности и неопределенности в применении к существительным, которое определяло прилагательное. Первоначально наличие местоимения в соответствующих оборотах четко ощущалась, ощущалась и указательность-релятивность этого местоимения. Сравним, например, в Зогафском евангелии: «принесош Δ ему *ослабленъ* (краткая форма) жилами, на одр ѣ леж Δ шть...и рече *ослабленуму*» (-этому) (местоименная форма, поскольку речь идет уже об известном расслабленном). <...> Объяснение полной формы прилагательного как членной (т.е. формы с артиклем, указывающим на определенность предмета), принадлежит еще Миклошичу и является в своей основе совершенно справедливым. Однако бесспорно, что уже в древнейших славянских памятниках употребление полных и кратких форм колеблется, наблюдается как бы распад категории определенности и неопределенности, едва успевшей возникнуть в языке: все более выдвигается роль кратких прилагательных как предикатов. В чем же тут дело?

Дело тут в том, что в самом способе образования категории определенности и неопределенности в славянских языках, выражаемой различием членных (местоименных, полных) и нечленных (именных, кратких) прилагательных, коренились причины ее слабости. Исконная слабость этой категории в грамматическом строе русского и других славянских языков коренилась во многих обстоятельствах. Возникало, как оформленное грамматическое значение, лишь понятие определенности. Это оформление заключалось в постановке артикля (местоимения **и, я, е**) после прилагательного, между тем как отсутствие члена выражало и понятие неопределенности и невозможность или ненужность применить в данном случае категорию определенности и неопределенности. А такие случаи, нейтральные по отношению к категории определенности и неопределенности, были. К ним относились, например, в области лексики собственные имена, названия общеизвестных, "определенных" местностей, территорий, городов, городских кварталов, праздников и т.д. Здесь

применение понятия определенности и неопределенности оказывалось совершенно лишним, так как определенность была заложена в их лексическом значении. Они выступали, как определенные, совершенно независимо от того, упоминаются ли они впервые или упомянуты уже ранее в данном контексте. <...>

Далее, категория определенности выражалась в древнерусском (в отличие от французского и немецкого) постановкой члена не при существительном, а при прилагательном, которое и становилось, благодаря этому, полным прилагательным. Это снова создавало непоследовательность в употреблении полных и кратких прилагательных, т.е. ослабляло выражение определенности и неопределенности. В самом деле, в ряде случаев прилагательное само по себе, по своему значению, без всякого дополнительного оформления в виде члена целиком определяло предмет, выражало его как определенный. Так, притяжательные прилагательные не нуждались, собственно ни в каком дополнительном оформлении в виде члена для выражения определенности по той причине, что они сами по себе, по своему значению, характеризовали предмет как вполне определенный: "сынъ *Ярославль*" – это вполне определенный сын столь же определенного Ярослава; поэтому не было никакой надобности в помощи члена; оборотов типа "сынъ *Ярославль(иш)*" не было. <...>

Оба отмеченных обстоятельства разлагали категорию определенности и неопределенности уже с самого начала ее существования, коренясь, как мы уже говорили, в самом способе ее образования. Старая противоположность *добрь* (неопределенность) – *добрьи* (определенность) нарушалась.

Но основным моментом, приведшим к исчезновению категории определенности и неопределенности во всех славянских языках, было еще третье обстоятельство, к выяснению которого мы сейчас и перейдем.

Исконная слабость категории определенности и неопределенности заключалась прежде всего в следующем. Местоимения **и**, **я**, **е** ставились при кратких прилагательных, превращая их в полные только тогда, когда прилагательные выступали в качестве определений-атрибутов; когда же прилагательное стояло в качестве сказуемого-предиката, т. е. в предикативной функции, то при нем определенный член никогда не ставился. Это объясняется тем, что предикат в именном сказуемом выступает сам по себе, как признак, приписываемый или открываемый в уже известном, определенном предмете; в этом случае существительное, к которому относится прилагательное (подлежащее), оказывается всегда определенным для высказывающегося. <...> В сказуемом выступают лишь краткие прилагательные. Таким образом, внутри прилагательных с самого начала

полные и краткие противопоставлялись как определенные и неопределенные, с одной стороны, и как атрибутивные и предикативные – с другой. Это обстоятельство и привело к разложению категории определенности и неопределенности, подрываемой и отмеченными выше фактами. <...>

Противоположность предикативности и атрибутивности постепенно перевешивала противоположность неопределенности и определенности. Это объясняется чрезвычайной силой категории предикативности в языке.

Постепенно функция прилагательных-определений закреплялась только за полными прилагательными; краткие же прилагательные, специализированные для выражения сказуемого-предиката, постепенно теряли формы согласования в падеже, перестали склоняться; выступая в качестве предиката, они до некоторой степени оглаголивались, отходили от категории имен (прилагательных). Но функция определения есть основная функция прилагательного. Поэтому полные прилагательные стали представителями категории прилагательных вообще, прилагательными по преимуществу. Они имели особое, отличное от имен оформление, и в их лице, на их основе в русском языке и возникла особая морфологическая категория прилагательных.

Таким образом, в русском языке образовалась на базе синтаксической категории определения морфологическая категория прилагательных. Это случилось потому, что у русских на определенном этапе развития их языка сложились подходящие условия в самом языке для морфологического воплощения (оформления) прилагательных (разложение категории определенности и неопределенности).

<...> В предыдущем изложении мы дали ответ на вопрос о том, почему краткие прилагательные перестали склоняться в процессе развития русского языка. Оказалось, что это обстоятельство было лишь оборотной стороной образования в русском языке морфологической категории прилагательных. <...> Теперь нам остается ответить на второй поставленный вопрос: почему, в отличие от древнерусского, относительные прилагательные в современном русском выступают лишь в полной форме.

Уже заранее ясно, что при объяснении того, почему в древнерусском относительные прилагательные выступали и в краткой и в полной форме, а в современном выступают только в полной, мы должны исходить из семантических и синтаксических особенностей качественных и относительных прилагательных, во-первых, и из тех основных линий развития прилагательных, которые намечены выше, во-вторых.

Качественные прилагательные обозначают такой признак или свойство предмета, который можно условно назвать подвижным признаком или свойством, в том смысле, что признак или свойство, обозначаемое качественными прилагательными, может содержаться в предмете в большей или меньшей степени, может возникать в нем или исчезать в известной постепенности; в связи с этим именно стоит наличие степеней сравнения в качественных прилагательных (относительные их не имеют), а также соотнесенность их с глаголами. Сравните: *красный, краснее, краснеть, белый, белее, белеть, добрый, добрее, добреть* и т.п.

<...> Относительные прилагательные не обладают вышеперечисленными свойствами качественных. Они обозначают такой признак или свойство предмета, который можно условно назвать неподвижным; признак или свойство, обозначаемое относительным прилагательным, не может содержаться в предмете в большем или меньшем количестве; никакой предмет не может быть более или менее деревянным, каменным и т.п.; в связи с этим стоит и отсутствие при относительных прилагательных степеней сравнения и отсутствие соотнесенности с глаголами <...>, иными словами, относительное прилагательное, по самому своему значению, может выступать в предикате, как всякое имя; никаких связей с предикатом оно не имеет.

Качественное прилагательное, бесспорно, связано многими нитями с предикатом-сказуемым и одной из его категорий – категорией времени; с предикатом связывают качественные прилагательные признаки, связывающие его с глаголом, этим "предикатом по преимуществу", типичным для славянских языков.

Краткая форма прилагательных, как мы видели в процессе развития русского языка, оглаголивалась и была закреплена за выражением предиката-сказуемого. Этим и объясняется то обстоятельство, что связанные с глаголом по своему значению качественные прилагательные могли выступать в краткой форме (как и в полной), в то же время как относительные отталкивались от оглаголивающейся краткой формы и стали выступать только в полной.

¹ Л. П. Якубинский. Из истории имени прилагательного. – Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 1951, №1. С. 52-60.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

А. В. Исаченко

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА¹

<...> Вопрос периодизации истории русского языка ставился не раз, и решался он по-разному. Последнее обобщающее изложение этого вопроса принадлежит акад. В. В. Виноградову. Автор подводит итоги высказываний некоторых авторитетных ученых по этому вопросу с учетом нескольких критериев. Оказывается, что «схема периодизации грамматического строя русского языка» не совпадает с периодизацией «истории звуков», что «история русского литературного языка» имеет третью схему периодизации, а «развитие книжно-славянского типа языка» – четвертую². Особая, пятая, схема касается «развития народно-литературного типа русского языка»³. Ясно, что для обобщающего курса истории русского языка, а также для педагогической практики подобные схемы не могут быть использованы.

Всякая периодизация является более или менее насильственной сегментацией единого исторического потока. Границы, разделяющие два «периода», так же условны, как границы, разделяющие две «диалектные области». Тем не менее историк языка и диалектолог не может обойтись без этих условных границ. В истории немецкого языка давно закрепились (условное) деление на три периода: древний, средний и новейший. Аналогичное деление принято в истории английского языка. Критериями в обоих случаях являются фонетические изменения. <...>

Можно утверждать, что русский язык не испытал на протяжении своего развития таких глубоких фонетических изменений, как, скажем, верхненемецкое передвижение согласных, «дегенерация» конечного вокализма или дифтонгизация долгих гласных. Поэтому трудно построить периодизацию русского языка на основании чисто фонетических явлений.

Фонетический критерий заставляет провести грань между концом XII и началом XIII вв.: именно в этот период падение глухих отмечает конец общевосточнославянских фонетических процессов. Падение глухих является последним фонетическим процессом, охватившим в с ю восточнославянскую территорию. Все фонетические инновации последующих эпох затрагивает лишь часть восточнославянской территории.

Падение глухих создает условия для дальнейшего развития русского, украинского и белорусского языков. Однако падение глухих почти не затрагивает других сторон языка. Самостоятельное развитие названных языков начинается несколько позже в связи с политическими сдвигами.

С точки зрения употребления грамматических категорий, синтаксических конструкций, словаря, язык грамот XIV в. мало чем отличается от делового языка, известного нам по памятникам XII в. К тому же наиболее важные памятники, возникшие до падения редуцированных, сохранились в списках XIII-XIV вв. («Русская правда», летописи). Л.П. Якубинский доводит свою «Историю древнерусского языка» (1953) именно до XIV в.: «Таким образом, в XIV в. древнерусские земли, существовавшие на территории распавшейся Киевской Руси, оказались политически разобщенными, вошли в состав различных государств. С этого времени начинается ...обособленная история русского, украинского и белорусского языков»⁴. Эта дата – конец XIV в. – совпадает с одним из пределов, «обозначающих узлы основных периодов развития древнерусского литературного языка», выделяемых акад. В.В. Виноградовым⁵.

Следует ли сохранять за этим периодом название «древнерусский» и соответственно продолжать называть язык данной эпохи «древнерусским»? Такое словоупотребление за последнее время довольно прочно вошло в обиход ряда ученых, но оно не отвечает исторической действительности. Ведь период с XI по XIV в. является общим наследством восточнославянских языков и, следовательно, может быть назван не только «древнерусским», но и «древнеукраинским». Совершенно очевидно, что оба эти термина являются применительно к эпохе с XI по XIV анахронизмами. Вот почему следует последовательно пользоваться термином *о б щ е в о с т о ч н о с л а в я н с к и й* (об. в.-сл. или овсл.) применительно к данному периоду, а также к языку названного периода. Предлагаемый термин (вовсе не новый в литературе по истории русского языка) учитывает историческую реальность и позволяет отбросить целый ряд неясностей и недоговоренностей, связанных с употреблением термина «древнерусский» применительно к первому этапу существования письменности на Руси.

Вторым, как будто тоже бесспорным пределом развития русского языка является конец XVII в. Во второй половине XVII в. начинают оформляться всероссийский национальный рынок и складываться буржуазные связи, намечается формирование русского национального языка. Но это именно только начальный этап формирования русского языка. Двуязычие доживает свой век, но все еще упорно держится. По свидетельству Г. В. Лудольфа (1696), у русских «принято разговаривать по-

русски, а писать по-славянски». Эта картина резко меняется начиная с XVIII в. Все это убедительно говорит в пользу того, чтобы считать конец XVII в. пределом второго периода развития языка.

Как же назвать этот период? Термин «древнерусский» слишком прочно связан с предшествующим периодом. Предлагаем назвать период с XV по XVII в. среднерусским, и язык этого периода – среднерусским (ср.-р. или срр.) языком. Этот термин не будет вызывать нежелательных географических ассоциаций, так как в диалектологии принято говорить о «средневеликорусских» или «центральных» диалектах».

Петровская эпоха знаменует начало новой эры. Ломка старого уклада жизни, глубокие преобразования во всех почти областях государственной жизни и связанные с реформами бытовые нововведения дают себя знать не только в словаре. Введение гражданского шрифта является внешним выражением окончательного разрыва между светским и церковным языком. Но язык XVIII в. – это еще не современный русский язык. Процесс отбора языковых средств, отвечающих новым коммуникативным заданиям, протекает на протяжении всего XVIII в. С начала XVIIIв. можно говорить о новорусском языке, <...> но еще нельзя говорить о «современном» русском языке.

В развитии новорусского языка (н.-р. или нр.) органически выделяются два периода: язык XVIII в. и современный русский язык (совр.-р. или совр.), выступающий вполне сложившимся в произведениях Пушкина, Лермонтова и целой плеяды поэтов и писателей. Осуществлен синтез двух традиций, найдены ключи к стилистической дифференциации нормированного, поливалентного литературного языка. Развитие современного русского языка продолжается, естественно, до наших дней. Возможная внутренняя дифференциация этого последнего периода выходит за рамки данной статьи.

Таким образом, история русского языка распадается на следующие периоды:

1. Общевосточнославянский период – до конца XIV в.; соответственно: общевосточнославянский язык.

2. Среднерусский период – с XV по XVII в.; соответственно: среднерусский язык.

3. Новорусский период – с XVIII в.; соответственно: новорусский язык – а) язык XVIII в., б) современный русский язык (с начала XIX в.).

<...> Предлагаемая периодизация, как и всякая другая, является лишь вспомогательным приемом историка. В историческом процессе нет и не может быть непроницаемых границ. Периодизация является в конце концов лишь внешней рамкой последовательного изложения историче-

ских процессов. Содержанием же такого изложения истории русского языка должен стать всесторонний показ всего многовекового развития всех доступных наблюдению аспектов русского языка. <...>

¹ Исаченко А. В. К вопросу о периодизации истории русского языка. — В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1963, с. 149-158.

² Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958. С. 132 и сл.

³ Там же. С. 136.

⁴ Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 44.

⁵ Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958. С. 137.

*Н. М. Карамзин*¹

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

О богатстве языка

Истинное богатство языка состоит же во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в арабском языке некоторые телесные вещи, например *меч* и *лев*, имеют пятьсот имен, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств?

В языке, обогащенном умными авторами, в языке, выработанном не может быть *синонимов*; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сама размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают.

Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону

... Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенить стихотворца и служить доказательством дарований его, напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону; его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями и, подобно Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда *малое делать великим*, иногда *великое делать малым*. Один бом-

баст, один гром слов только что оглушает нас и никогда до сердца не доходит, напротив того, нежная мысль, тонкая черта воображения или чувства непосредственно действуют на душу читателя, умный стих врезывается в память, громкий стих забывается.

Отчего в России мало авторских талантов?

У вас, конечно, менее авторских талантов, нежели у других европейских народов, но мы имели, имеем их, и, следовательно, природа не осудила нас удивляться им только в чужих землях. Не в климате, но в обстоятельствах гражданской жизни россиян надобно искать ответа на вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?». Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно раскрыться ученьем и созреть в постоянных упражнениях. Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование, — то есть какую-то особенную деятельность душевных способностей, — но и многие исторические сведения, ум, образованный логикою, тонкий вкус и знание света. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, 5 или 6 авторов века Лудовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля, может совершенно узнать язык свой во всех формах; но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное богатство языка, которое ожидает души и красот от художника. Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выразить приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли. Русский *кандидат авторства*, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! Милые женщины, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов, давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения! Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и романов не победили сей великой трудности и что светские женщины не имеют терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите

у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «Не знаю, но это грубо, несносно!» — Одним словом, французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти, французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом.

О любви к отечеству и народной гордости

Завистники русских говорят, что мы имеем только в высшей степени *переимчивость*; но разве она не есть знак превосходного образования души? Сказывают, что учителя Лейбница находили в нем также одну *переимчивость*.

... Успехи литературы нашей (которая требует менее учености, но, смею сказать, еще более разума, нежели, собственно, так называемые пауки) доказывают поликую способность русских. Давно ли знаем, что такое слог в стихах и прозе? И можем в некоторых частях уже равняться с иностранцами. У французов еще в шестом-на-десять веке философствовал и писал Монтань: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые наши произведения могут стоять наряду с их лучшими как в живописи мыслей, так и в оттенках слога? Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою: французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно по крайней мере внимание русских. <...> Некоторые извиняются худым знанием русского языка: это извинение хуже самой вины. Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен; что *charmant* и *seduisant*, *expansion* и *vareurs* (т. е. прелестный, обольстительный, изливание, воспарения. — сост.) могут быть на нем выражены; и что, одним словом, не стоит труда знать его. Кто смеет доказывать дамам, что они ошибаются? Но мужчины по имеют такого любезного права судить ложно. Язык ваш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею, нежели французский; способнее для изливания души в тонах; представляет более *аналогических* слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре? Один иностранный министр сказал при мне, что «язык наш должен быть весьма темен, ибо русские, говоря им, по его замечанию, не понимают друг друга

и тотчас должны прибегать к французскому». Не мы ли сами подаем повод к таким нелепым заключениям? – Язык важен для патриота....

... Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником!

Пантеон русских авторов

Под сим титулом г. Бекетов издает собрание их портретов (очень изрядно гравированных) с критическими замечаниями. Мы любим портреты и чужестранных писателей: свои должны быть для нас еще интереснее. В начале изображены Боян и Нестор: не нужно сказывать, что одно воображение могло представить черты их. Издатель хотел только напомнить любителям литературы, что у нас и в древности были сочинители. Но истинный *век авторский* начался в России со времен Петра Великого: ибо искусство писать есть действие просвещения. Феофан и Кантемир составляют сию первую эпоху; за нею следует эпоха Ломоносова и Сумарокова; третьем должно назвать время Екатерины Великой, уже богатое числом авторов; а четвертой... мы еще ожидаем...

¹ Карамзин Н. М. Полное собрание сочинений. – М.; Л., 1964. – Т. 2. – С. 142–287.

М. В. Ломоносов

ПРЕДИСЛОВИЕ О ПОЛЬЗЕ КНИГ ЦЕРКОВНЫХ В РОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ¹

В древние времена, когда славенский народ не звал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для неведения многих вещей в действиях, ученым народам известных, тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианский законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия божия. Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители. На нем, кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, витийствовали великие христианския церкви учителя и творцы, возвышая древнее красноречие высокими богословскими догматами и парением усердного пения к богу. Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке, коль много

мы от переводу ветхого и нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видим в славенском языке греческого изобилия и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно. Правда, что многие места оных переводов недовольно вразумительны, однако польза наша весьма велика. Присем, хотя нельзя прекословить, что сначала переводившие с греческого языка книги на славенский не могли миновать и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств греческих, славенскому языку странных, однако оные чрез долготу времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли в обычай. Итак, что предкам вашим казалось невразумительно, то нам ныне стало приятно и полезно.

Справедливость сего доказывается сравнением российского языка с другими, ему сродными. Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большей части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Напротив того, в католических областях, где только одну латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не находим.

Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий. Сие происходит от трех родов речений российского языка.

К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: *бог, слава, рука, ныне, почитаю*.

Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: *отверзаю, господень, насажденный, взываю*. Неупотребительные и весьма обетшальные отсюда выключаются, как: *обаваю, рясны, овогда, свене* и сим подобные.

К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: *говорю, ручей, который, пока*,

лишь. Выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях.

От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий.

Первый составляется из речений славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях, и з славенских, россиянам вразумительных и не весьма обетшалых. Сим штилем составляться должны героические поамы, оды, прозаичные речи о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных.

Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения словенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И, словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда, речение славенское положено будет подле российского простонародного. Сим штилем писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия. Однако может в первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли, в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных.

Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских обще не употребительных вовсе удаляться по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные впиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению. Но всего сего подробное показание надлежит до нарочного наставления о чистоте российского штиля.

Сколько в высокой поэзии служат одним речением славенским сокращенные мысли, как причастиями и деепричастиями, в обыкновенном российском языке неупотребительными, то всяк чувствовать может, кто в сочинении стихов. испытал свои силы.

Сия польза наша, что мы приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких, хотя велика, однако еще

находим другие выгоды, каковых лишены многие языки, и сие, во-первых, по месту.

Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и в селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии баварский крестьянин мало понимает мекленбургского или бран-денбургский швабского, хотя все того ж немецкого народа.

Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество живущими за Дунаем народами славенского поколения, которые греческого исповедания держатся, ибо хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако для употребления славенских книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность.

По времени ж рассуждая, видим, что российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуместь не можно было: не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время.

Рассудив таковую пользу от книг церковных славенских в российском языке, всем любителям от очественного слова беспристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь собственным своим искусством, дабы с прилежанием читали все церковные книги, от чего к общей и к собственной пользе воспоследует:

1) По важности освященного места церкви божией и для древности чувствуем в себе к славенскому языку некоторое особое почитание, чем великолепные сочинитель мысли сугубо возвысит.

2) Будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слога.

3) Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется, и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль дол-

го церковь российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет. ...

¹ Ломоносов М. В. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. – М.; Л., 1952. – Т. 7. – С. 585–592.

А. С. Пушкин

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ¹

О прозе

Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут *дружба* — не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. ...

Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впрочем в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется).

Причинами, замедлившими ход нашей словесности...

Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются — 1) общее употребление фр.<анцузского> языка, и пренебрежение русского — все наши писатели на то жаловались, — но кто же виноват, как не они сами. Исключая тем, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен — у нас еще нет ни словесности ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения<?> и гарм.<онии>, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее

выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны.

Но русская поэзия — скажут мне — достигла высокой степени образованности. Согласен, что некоторые оды Держ.^{<авина>}, несмотря на неровность слога и неправильность языка, исполнены порывами истинного гения, что в «Душеньке» Богдановича встречаются стихи и целые страницы достойные Лафонтена, что Крылов превзошел всех нам известных баснописцев, исключая, мож^{<ет>} б^{<ыть>}, сего же самого Лафонтена, что Батюшков, счастл.^{<ивый>} сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италийского: что Жуковского перевели бы все языки, если б он сам менее переводил.

О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова

Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами.

Мнения сии не трудно было оправдать. Как материал словесности, язык славянорусской имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и *такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*

О народности в литературе

С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы — но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность. ...

Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Калдероне Кориола^{<на>},

вызывающего на дуэль своего противника. Всё это носит однако ж печать народности.

Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более и<ли> менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.

Отрывки из писем, мысли и замечания

Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности.

Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного.

Возражение на статью «Атенея»

Что звук пустой вместо подобно звуку, как звук. — В поле etc. Частица *что* вместо грубого *как* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном. Крылов употребляет [его].

Кстати о Кр.<ылове.> Вслушивайтесь в простонародное наречие, молодые писатели—вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах. ...

Читайте простонародные сказки, молодые писатели — чтоб видеть свойства русского языка. ...

Опровержение на критики

... Наши критики долго оставляли меня в покое. Это делает им честь: я был далеко в обстоятельствах не благоприятных. По привычке полагали (так! – сост.) меня всё еще очень молодым человеком. Первые неприятные статьи, помнится, стали появляться по напечатанию четвертой и пятой песни Евг.<ения> Онегина. Разбор сих глав напечатанный в «Атенея» удивил меня хорошим тоном, хорошим слогом и странностию привязок. Самые обыкновенные риторические фигуры и тропы останавливали критика: можно ли сказать *стакан шипит*, вместо *вино шипит в стакане? камин дышит*, вместо *пар идет из камина? Не слишком ли смело ревнивое подозрение? неверный лед?* Как думаете, что бы такое значило: *мальчишки*

Коньками звучно режут лед?

Критик догадывался, однако, что это значит: мальчишки бегают по льду на коньках.

Вместо:

На красных лапках гусь тяжелый,

(Задумав плыть по лону вод)
Ступает бережно на лед
критик читал:
На красных лапках гусь тяжелый
Задумал плыть —

и справедливо замечал, что недалеко уплывешь на красных лапках. Некоторые стихотворческие вольности: после отрицательной частицы *не* — винит.<ельный>, а не родительный падеж; *времен* вместо *времен* (как например у Батюшкова:

То древню Русь и нравы
Владимира *времен*.)

приводили критика моего в великое недоумение. Но более всего раздражил его стих:

Людскую молвь и конской топ.

«Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русской язык?» — Над этим стихом жестоко потом посмеялись и в В.<естнике> Евр.<опы>.—*Молвь* (речь) слово коренное русское. *Топ* вместо *топот* столь же употребительно, как и *шип* вместо *шипение* (следств.<енно> и *хлоп* вместо *хлопанье* вовсе не противно духу русского языка). На ту беду и стих-то весь не мой, а взят целиком из русской сказки:

«И вышел он за врата градские, и услышал конский топ и людскую молвь».

Бова К.<оролевич>.

Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают.

Разговорный язык простого народа (не читающего иностр. <анных> книг и, слава богу, не выражающ<его>, как мы, своих мыслей на фр.<анцузском> языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийской базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком.

Московской выговор чрезвычайно изнежен и прихотлив. Звучные буквы *щ* и *ч* пред другими согл.<асными> в нем изменены. Мы даже говорим *женщины*, *нослег* (см. Богдановича).

Г. Федоров, в журнале, который начал было издавать, разбирая довольно благосклонно 4 и 5-ую главу, заметил однако ж мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею *Уж*, что и называл он *ужами*, а что в риторике зовется *единоначатием*. Осудил

он также слово *корова* и выговаривал мне за то, что я барышен благородных и вероятно чиновных назвал *девчонками*, (что конечно неучтиво), между тем как простую деревенскую девку назвал *девою*:

В избушке распевая, дева

Прядет —

Если б Недоросль, сей единственный памятник народной сатиры Нед.<оросль>, которым некогда восхищалась Ек.<атерина> и весь ее блестящий двор, если б Н.<едоросль> явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Ф. Визина, с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей* дочерью, а себя сравнивает с *сукою* (!!). «Что скажут дамы!» воскликнул бы критик, ведь эта комедия может попасться дамам!» — В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать! А дамы наши (бог им судья!) их и не слушают и не читают, а читают этого грубого В. Скотта, который никак не умеет заменять просторечие простомыслием. ...

Потом следовала критика мелочная, критика букв, от которой пора бы нам отвыкнуть. Слова *усы*, *визжать*, *вставай*, *рассветает*, ого, *пора* казались критикам *низкими*, *бурлацкими*; [низкими словами я, как В.<ильгельм> К.<юхельбекер>, почитаю те, которые подлым образом выражают какиенибудь понятия; например, нализаться вместо выпиться пьяным и т. п.]; но никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.

¹ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. – М., 1966. – Т. 1–2. – С. 18–159.

Б. А. Успенский¹

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКО-РУССКАЯ ДИГЛОССИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С принятием христианства в качестве государственной религии при князе Владимире церковнославянский язык получает статус языка официального культа, противопоставляясь русскому языку прежде всего как язык сакральный языку профанному. Таким образом, языковые отношения вписываются в более общие культурные оппозиции; с установлением этих оппозиций и связываются основные моменты формирования церковнославянского-русской диглоссии. Задачи христианского просвещения обуславливают появление школ, и отсюда церковнославянский язык становится языком, которому формально обучают; в то же время нет никаких данных, указывающих на какое-либо обучение русскому языку. С

противопоставлением христианской и нехристианской культуры прямо связано распределение сфер влияния церковнославянского и русского языка, когда в одних случаях становится необходимым употреблять церковнославянский язык, а в других его употребление оказывается невозможным; отсюда возникает письменность на русском языке (бытового и делового характера). Существенно при этом, что один и тот же писец может писать один текст по-церковнославянски, другой — по-русски, т.е. применение того или иного языка имеет вполне сознательный характер, будучи обусловлено языковой установкой пишущего. Поскольку применение того или иного языка мотивировано языковой установкой, перевод с церковнославянского языка на русский и наоборот оказывается невозможным. Следует предполагать также, что церковнославянский язык не выступал в качестве средства разговорного общения: действительно, сознательное употребление русского языка грамотными писцами (бесспорно владеющими церковнославянским языком) было бы немыслимым, если бы они разговаривали по-церковнославянски.

С принятием христианства, наконец, возникает русская книжная (литературная) традиция, и языком этой традиции оказывается церковнославянский. Церковнославянский язык выступает при этом как посредник в греческо-русских культурных контактах, т.е. как средство трансплантации византийской культуры на русскую почву, в результате которой Россия в известном смысле становится частью византийского мира. Византийская культура заимствуется на Руси вместе с религией, усвоение византийской образованности воспринимается как составная часть христианского просвещения, и в этой струе на Русь попадают не только церковные, но и светские византийские тексты. Таким образом, церковнославянский язык начинает функционировать не только как сакральный язык, но и как язык культуры, и, соответственно, оппозиция церковнославянского и русского осмысливается не только как противопоставление сакрального и профанного, но и как противопоставление культурного и бытового.

В этой перспективе русский язык может восприниматься как непрофессиональный, некультурный. Русский летописец, говоря о крещении Руси и начале русской грамоты, цитирует пророка Исаию (XXXV, 5—6): «Сим же раздаяномъ на ученье книгамъ, събысться пророчество на Русьтѣи земли, глаголющее: "Во оны днии услышать глусии словеса книжная, и ясенъ будет языкъ гугнивыхъ"» (ПВЛ, I, с. 81). Итак, живая, некнижная славянская речь понимается как глоссолалия. В сущности, это кирилло-мефодиевская традиция: точно так же Кирилл на венецианском диспуте ... цитирует первое послание коринфянам апостола Павла (XIV,

39), уподобляя книжную славянскую речь глоссолалии и призывая к тому, чтобы язык, который ранее звучал как глоссолалия, стал осмысленным — осмысленность определяется возможностью использования его как средства распространения христианской истины.

Итак, с крещением Руси функции русского и церковнославянского языка противопоставляются, и церковнославянский язык приобретает значение литературного.

С крещением Руси связана целенаправленная деятельность по введению церковнославянского языка как языка христианской культуры. Летопись непосредственно связывает христианизацию Руси и начало там книжного учения. Сразу же после известия о крещении киевлян в Днепре «Повесть временных лет» сообщает, что Владимир «нача поимати у нарочитые чади дѣти, и даяти нача на ученье книжное» (ПВЛ, I, с. 81). Это событие можно считать поистине эпохальным для истории литературного языка, поскольку начало школьного учения и знаменует собственно начало литературного языка: специальная норма литературного языка, по определению, усваивается в процессе формального обучения. Обучение сначала не было повсеместным (брались дети «нарочитые чади», т.е., видимо, социальной элиты), но, надо полагать, достаточно скоро стало таковым, так как устройство школ было связано с религиозным просвещением и поручено духовенству. ...

... Дело Владимира, как уже говорилось, — создание школьного образования («книжного ученья»), но не русской письменности. Последняя появляется при Ярославе, когда начинается переписывание книг и возникает переводная литература. Летопись (под 1037 г.) ставит в особую заслугу Ярославу «книжное просвещение»: «И собра писци многы и прекладаше от грекъ на словенское писмо. И списаша книги многы, ими же поучащесе вѣрнии людье наслажаются ученья божественаго» (ПВЛ, I, с. 102). Итак, если при Владимире, по-видимому, на Руси распространялись южнославянские книги, то при Ярославе получила начало русская письменность, т.е. появляются книги не привезенные, а здесь созданные. Тем самым было положено основание формированию русского извода церковнославянского языка, т.е. русского литературного (книжного) языка.

Определяющее значение в этом процессе имеет переводческая деятельность: переводы с греческого играют принципиально важную роль в формировании литературного языка и определении его функций. Переводится большой и весьма разнообразный по своему содержанию и жанровой характеристике корпус текстов: богословская, апокрифическая, агиографическая, историческая, естественнонаучная, повествовательная

и другая литература. Необходимо подчеркнуть, что переводятся и переписываются такие произведения, содержание которых никак не может представлять практический интерес для русского читателя, например, сочинения, посвященные истории Византии и при этом даже охватывающие в значительной части дохристианский период (ср. хроники Иоанна Малалы или Георгия Амартола). Тем не менее, они интересны для русских как часть византийской культуры. Принадлежность их к византийской литературе и обуславливает их вхождение (и бытование) в русскую литературу: русская литература (письменность, образованность) на начальном этапе представляет собой не что иное, как сколок с византийской литературы.

В результате переводческой деятельности и культурной ориентации на Византию церковнославянский язык воспринимается не только как равноправный греческому (по своей функции), но и как эквивалентный ему (по своему строю). Переводы с греческого на церковнославянский в идеале должны находиться как бы в однозначном соответствии со своим оригиналом. Это обуславливает огромное количество греческих калек, переводных конструкций, буквальных соответствий и, наконец, прямых заимствований из греческого в церковнославянском языке. <...>

Роль церковнославянского языка как литературного языка Древней Руси была подчеркнута А.А. Шахматовым. Однако Шахматов рассматривал языковую ситуацию Киевской Руси как ситуацию церковнославянского-русского двуязычия. <...> Между тем, двуязычие, в отличие от диглоссии, имеет в принципе промежуточный, переходный, нестабильный характер. Определив сосуществование церковнославянского и русского языков в Древней Руси как ситуацию двуязычия, Шахматов — вполне последовательно с точки зрения логики — предположил более или менее быструю ассимиляцию церковнославянского языка на русской почве. В контексте двуязычия естественно было предположить, что образованные люди Киевской Руси («прошедшие школы, основывавшиеся на Руси в XI в.») говорили по-церковнославянски; по Шахматову, язык «книжно-образованных классов», т.е. церковнославянский, со временем превращается в общее койне, к которому восходит по своему происхождению современный русский литературный язык. В результате на несколько веков оказался отодвинутым тот процесс, который на великорусской территории происходит только со второй половины XVII в., когда имеет место разрушение церковнославянского-русской диглоссии и переход ее в церковно-славянско-русское двуязычие. До этого история русского литературного языка — это история церковнославянского языка русской редакции.

Если церковнославянский язык не может служить в условиях диглоссии средством разговорного общения, то русский язык не имеет ничего общего с книжной (литературной) языковой нормой: тексты на русском (древнерусском) языке — в частности, памятники юридической, деловой, бытовой письменности — находятся вне сферы литературного языка и вне литературы, они не обработаны с точки зрения соответствия языковой норме. В определенной языковой ситуации — в частности, в той, какая имела место в Киевской Руси, — именно применение достаточно строго нормированного литературного языка, т.е. того языка, которому специально обучались грамотные люди, может служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу «литературных» (с точки зрения соответствующей эпохи) произведений. Иначе говоря: именно соблюдение норм литературного языка позволяет в этих условиях определить отношение рассматриваемого текста к «литературе». Понятие «литературного языка» выступает тогда как первичное по отношению к «литературе». Возможна и иная ситуация, когда, напротив, литературный язык ориентируется на употребление в контексте литературы. В этом случае понятие «литературы» является первичным по отношению к «литературному» языку» — именно такая ситуация, в частности, характерна для России с XVIII в.

Определение языковой ситуации Древней Руси как диглоссии ставит историка русского литературного языка перед необходимостью пересмотреть ряд проблем, которые традиционно решались, исходя из презумпции церковнославянского-русского двуязычия. К таким проблемам относится прежде всего вопрос о взаимном влиянии церковнославянского и русского языков и вопрос о критериях выбора между двумя языками в процессе языковой деятельности.

Сосуществование двух языков в рамках диглоссии — книжного церковнославянского и разговорного русского — не исключает возможности взаимного влияния их друг на друга. Тем не менее, русское влияние на церковнославянский язык, вопреки Шахматову, не приводит к ассимиляции церковнославянского языка, но сводится лишь к его адаптации на русской почве. В процессе такой адаптации определенные языковые элементы, восточнославянские по своему происхождению, усваиваются церковнославянским языком русской редакции, т.е. допускаются нормой церковнославянского языка. Первоначально соответствующие формы входят в церковнославянскую языковую норму на правах факультативных вариантов, которые конкурируют в церковнославянском языке русской редакции с коррелятными формами южнославянского происхождения, выступая в качестве допустимых отклонений от нормативных

южнославянских форм. В дальнейшем, по мере освобождения от влияния южнославянских протографов — этот процесс имеет место по крайней мере с начала XII в. — соответствующие восточнославянские формы начинают восприниматься как нормативные, тогда как южнославянские написания могут допускаться лишь в качестве вариантных. Таким образом, если в начале русская церковнославянская орфография фигурировала как допустимое — в пределах нормы — отклонение от южнославянской, то с XII в. положение меняется: южнославянская орфография представляет собой допустимое отклонение от русской нормы. Существенно, что с конца XII в. южнославянские написания могут исправляться в рукописях на русские, и это наглядно свидетельствует о том, что соответствующая русская форма признается правильной, а южнославянская расценивается как неправильная (см., например, регулярное исправление окончания тв. падежа *-омъ* на *-ъмь* в Выголексинском сборнике). Так в процессе адаптации церковнославянского языка на Русской почве образуется специальная норма русского церковнославянского языка. ...

Славянизация русского языка (главным образом на лексическом уровне) способствовала характерному для диглоссии восприятию русского языка как отклонению от книжного церковнославянского, т.е. в конечном итоге способствовала становлению и стабилизации диглоссии как языковой ситуации. Как бы ни был славянизирован русский язык, он все равно является в языковом сознании простым, некнижным: любое сознательное отклонение от церковнославянской языковой нормы в принципе дает возможность воспринимать текст как просторечный. Вместе с тем, поскольку русский язык свободно эволюционирует на глазах у носителя языка, а церковнославянский (кодифицированный) язык остается более или менее стабильным, процесс языковой эволюции закономерно воспринимается как порча, удаление от исходного состояния; церковнославянский язык в силу своей стабильности отождествляется с исходным состоянием языка, с языком-предком (лишь во второй пол. XVIII в. против такого понимания выступают Ломоносов и Барсов, а затем Карамзин, Каченовский, Востоков).

Следует прежде всего подчеркнуть, что обращение к русскому языку отнюдь не свидетельствует о невладении книжным церковнославянским языком, т.е. совсем не всегда объясняется простой неграмотностью, неспособностью писать (говорить) по-церковнославянски, но может иметь вполне сознательный характер — как употребление церковнославянского языка, так и употребление русского языка определяется при этом языковой установкой пишущего (говорящего). Соответственно объясняется

смена языкового кода, т.е. чередование церковнославянского и русского языков в соответствии с меняющейся языковой установкой, которую мы наблюдаем в целом ряде текстов.

Иллюстрацией могут служить, например, всевозможные записи или приписки писцов в грамотно написанных церковнославянских текстах. Так, уже в «Остромировом евангелии» 1056—1057 г. тексты, принадлежащие непосредственно самому писцу — дьякону Григорию, — более или менее отчетливо отличаются по языку от переписанного им евангельского текста, ср.: «ищи зади перегъноувъ листа дѣва» (л. 265 об.), «да иже горазнее сего напише, то не мози зазърѣти мьнꙋ грꙋшъникоу» (л. 294 об.); здесь же встречаем полногласные формы *Володимира*, *Новъгородъ* (л. 294 об.) — приведенными формами и исчерпываются, собственно, все случаи полногласия в данном памятнике, т.е. они встречаются исключительно в записях писца. ...

Итак, применение книжного или некнижного языка определяется не непосредственно самим выражаемым содержанием, но отношением к этому содержанию со стороны говорящего (пишущего) как представителя языкового коллектива. Иными словами, различие между двумя языками предстает — в функциональном плане — как модальное различие. Неточно было бы считать, например, что когда речь идет об ангелах, употребляется церковнославянский язык, а когда о людях — русский. Один и тот же мир объектов (или один и тот же событийный текст) в принципе может быть описан как тем, так и другим способом — в зависимости от отношения говорящего к предмету речи. Так, если в людях видят проявление сакрального начала или вообще, если в тексте предполагается — эксплицитно или имплицитно — соотнесение со сферой сакрального, уместно использование церковнославянского языка; в противном случае уместно использование языка русского. Соответственно, мы можем встретить в церковнославянском тексте, например, достаточно детальное описание работы пищеварительного тракта, как это имеет место в «Похвальном слове» св. Константину Муромскому — гомилетическом памятнике XVI в., явно предназначенном для произнесения с амвона: «И аще ли вопрошаеете моя худости: повѣждь намъ, любимче, почто ны созываеши во обитель пресвятыя Богородица честнаго ея Благовѣщенія..., и что-ли мзда будетъ сристанія нашего во святую обитель сію? — Не на плотное [т.е. плотское] веселіе созываю вы, но на духовное, не на земное пиршество, идѣже мяса и многоразличныя яди предлагаются, яже входятъ во уста, а въ сердце не вмещается и афедрономъ исходитъ и мотыло [кал] именуется, ни вино, ни медъ, гортань веселящее, а умъ омрачающее и въ дѣтородный удъ изливающеся и потомъ смрадомъ воняюще, но со-

зывают вы на трапезу духовную». <...> Соотнесение со сферой сакрального в данном случае совершенно очевидно: плотская трапеза, предполагающая устремление мирской пищи вниз, противопоставляется здесь трапезе духовной, предполагающей устремление духовной пищи вверх; тем самым, в этом контексте вполне оправдано применение церковнославянского языка. ...

Так можно понимать саму идею противопоставленности церковнославянских и русских текстов в условиях церковнославянско-русской диглоссии. Разумеется, в целом ряде случаев эта идея не проявляется непосредственно (в чистом виде), и тексты пишутся по-церковнославянски потому, что они приравниваются к книжным текстам по вторичным признакам. Как уже говорилось, противопоставление церковнославянского и русского соотносится не только с оппозицией сакрального-профанного (мирского), но и с более общей оппозицией культурно-бытового; и, соответственно, именно принадлежность текста к сфере книжной культуры может придавать ему необходимую авторитетность, обуславливая применение книжного церковнославянского языка. Так, в частности, переводы с греческого, как мы видели, предполагают использование книжного языка, т.е. вхождение текста в византийскую литературу определяет его культурный статус, который, естественно, сохраняется при переводе. Авторитетность содержания, мотивирующая применение церковнославянского языка, определяется в данном случае не непосредственной связью с сакральным началом, но именно культурным статусом текста: культурная традиция выполняет при этом как бы посредническую роль, соотнося текст с Божественной правдой, т.е. заставляя воспринимать его как выражение объективного знания. <...>

¹ Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). – М., 1994. – С. 9–53.

Б. А. Успенский

ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА ОТ ДИГЛОССИИ К ДВУЯЗЫЧИЮ ¹

... В основе второго южнославянского влияния лежат пурификаторские и реставрационные тенденции; его непосредственным стимулом было стремление русских книжников очистить церковнославянский язык от тех разговорных элементов, которые проникли в него в результате его постепенной русификации (т.е. приспособления к местным условиям).

На практике это выражается прежде всего в активизации церковнославянских словообразовательных средств и в массовой продукции неославянизмов, которые призваны заменять соответствующие русизмы.

Ранее носитель языка при порождении книжного церковнославянского текста мог исходить из соответствующих форм живой речи. Так русский книжник, которому недоставало слова для выражения того или иного понятия, в принципе мог заимствовать это слово из живого русского языка. Если это слово не соответствовало формальным критериям, предписываемым языковой нормой, оно более или менее автоматически преобразовывалось в соответствии с этими предписаниями — например, полногласная форма превращалась в неполногласную и т.п. (об этом наглядно свидетельствуют, между прочим, гиперкорректные формы типа *глосьь*, *плань*, вместо *глась*, *плѣнь* и т.п., наблюдаемые в церковнославянских памятниках русской редакции, которые явно образованы из *голосьь*, *полонь* и т.п.). Если же русское слово не противоречило формальным критериям церковнославянского текста, оно просто заимствовалось в том виде, в каком оно представлено в русском языке. Можно считать, что на этом этапе вообще нет лексических различий между церковнославянским и русским языком: церковнославянские и русские формы противопоставлены в данном случае, собственно говоря, не на лексемном, а на морфемном уровне (по форме корня, флексии или словообразовательного форманта), т.е. на том уровне, который выражается в виде общих правил (образующих бинарные ряды соотнесенных между собою пар), а не в виде конкретных противопоставлений отдельных лексем. Граница между книжной и некнижной лексикой образуется совокупностью легко усваиваемых закономерностей общего характера.

После второго южнославянского влияния в результате сознательного отталкивания от разговорной речи прямые лексические заимствования из русского в церковнославянский в принципе становятся невозможными. Теперь отношения между двумя языками строятся на лексемном уровне и образуются коррелятивные пары соотнесительных русизмов и славянизмов. Русский книжник, которому недостает какого-то слова для выражения своей мысли, не может заимствовать это слово из разговорного языка и потому вынужден образовывать неологизм, используя средства выражения церковнославянского языка. Таким образом, стремление к архаизации и реставрации, являющееся одним из главных стимулов второго южнославянского влияния, вызывает удаление от исходного состояния и стремительную эволюцию церковнославянского языка (как это и вообще характерно для реставрационных, пуристических движений).

Создаваемые таким образом книжные неологизмы — иначе говоря, неославянизмы — призваны заменить собственно русские лексемы. Отсюда на лексемном уровне образуются парные противопоставления славянизмов и русизмов, т.е. создается как бы двуязычный церковнославянско-русский словарь. Этот процесс, в частности, обуславливает появление словарей «произвольников» («произвольных речений»), в которых наряду с иноязычными словами толкуются и слова церковнославянские; характерно, что такое толкование получают и общеизвестные слова (см.: Ковтун, 1963) — таким образом, целью подобных указаний является именно установление соответствия между церковнославянским и русским словом. Та же тенденция к соотнесению церковнославянских и русских лексем находит отражение и в рассуждении Зиновия Отенского о глаголах *чаю* и *жду* в последнем члене «Символа веры». Зиновий возражает тем, кто считает, что *чаю* и *жду* различаются семантически, полагая, что *чаю* будто бы выражает неполную уверенность; с его точки зрения, *чаю* относится к книжной речи, а *жду* — к народной. Аналогичная корреляция устанавливается в этот же период между словами *око* и *глаз* и т.п. Во всех этих случаях утверждается семантическое тождество соотносимых слов, но при этом подчеркивается, по существу, их разная языковая принадлежность. <...>

Установлению корреляции между церковнославянским и русским языком на лексемном уровне способствует также следующее обстоятельство. В ходе второго южнославянского влияния осуществляется ревизия церковнославянского языка русской редакцией, в результате чего книжные и некнижные лексемы начинают противопоставляться по новым признакам, по которым они не противопоставлялись ранее — иначе говоря, появляются новые формальные признаки славянизмов и русизмов. Так, например, на месте общеславянского **dj* в церковнославянском языке начинает писаться и произноситься *жд* (а не *ж*, что было нормой в предшествующий период) и т.п. Слова церковнославянского происхождения, соответствующие старой, а не новой норме, объявляются некнижными и тем самым причисляются к русизмам. Таким образом, слово *рожество*, которое ранее соответствовало норме церковнославянского языка, противопоставляется теперь церковнославянскому *рождество* и воспринимается как специфический русизм. Итак, старые славянизмы, от которых отказывается церковнославянский язык, оказываются в фонде русской лексики; соответственно, они образуют лексические корреляты к новым (исправленным) церковнославянским лексемам, т.е. устанавливается взаимооднозначное соответствие между церковнославянским и русским словом (цел. *рождество* — рус. *рожество*).

К этому же этапу относится развитие у славянизмов в русском языке (т.е. у слов, заимствованных из церковнославянского языка в русский) абстрактных и переносных значений. Соответственно, происходит семантическое обособление славянизмов в русском языке от тождественных по форме слов церковнославянского языка, т.е. в русском языке появляются славянизмы, которые отличаются по значению от соответствующих лексем церковнославянского языка. Итак, там, где церковнославянские и русские лексемы совпадают по значению, они расходятся по форме; там же, где они совпадают по форме, они расходятся по значению.

Все это очевидным образом свидетельствует о перестройке отношений между церковнославянским и русским языком: создаются предпосылки для перехода от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. Диглоссия сохраняется постольку, поскольку сферы употребления церковнославянского и русского языков остаются прежними, но словари этих языков образуют параллельные ряды, что в принципе определяет возможность перевода с языка на язык (невозможного при диглоссии, но естественного при двуязычии!).

Если в древнейший период книжный язык мог восприниматься в качестве кодифицированной разновидности живого языка, то теперь он оказывается ощутимо противопоставленным живой речи. Отталкивание от русского языка приводит к осознанию его как самостоятельной системы, своего рода анти-нормы: русский язык начинает фиксироваться в языковом сознании как особая языковая система, противопоставленная церковнославянскому языку. Соответственно, если раньше носитель языка при порождении книжного текста мог исходить из естественных для него речевых навыков, и процесс порождения сводился к трансформации отдельных элементов текста, то теперь при переходе с некнижного языка на книжный имеет место переключение языковых механизмов. Иначе говоря, если раньше мы наблюдали корреляцию церковнославянских и русских текстов, то теперь эта корреляция осуществляется на уровне кодов (т.е. механизмов языка): книжный и некнижный языки оказываются противопоставленными не по отдельным признакам (фонетическим или грамматическим), а в целом.

Именно поэтому различия между церковнославянским и русским языком в значительной степени осознаются теперь как различия лексические — при том, что ранее эти различия проявлялись главным образом на фонетическом и грамматическом уровнях. Отношения между двумя языками выражаются на данном этапе не в виде общих закономерностей, которые могут быть сформулированы и усвоены в виде правил, позво-

ляющих производить соответствующие трансформации (т.е. преобразование не книжного текста в книжный), а в виде конкретных соответствий, устанавливающих корреляции между элементами одного и другого языка. Как мы уже говорили, если фонетические и грамматические соответствия могут быть сформулированы в виде общих правил, доступных для усвоения, то лексические соответствия всегда имеют конкретный характер и в принципе не сводимы к правилам.

Таким образом, если в свое время церковнославянский язык был маркирован по отношению к русскому, выступая как его кодифицированная разновидность — тогда как русский не был маркирован по отношению к церковнославянскому, — то теперь оба языка оказываются взаимно маркированными по отношению один к другому, т.е. церковнославянский и русский языки, которые раньше образовывали привативную оппозицию, образуют теперь оппозицию эквиполентную. Соответственно, изменяется способ отождествления церковнославянского и русского языков в языковом сознании. Церковнославянский и русский язык, поскольку они сосуществуют в ситуации диглоссии, по-прежнему воспринимаются как две разновидности одного языка — правильная и неправильная, — однако они объединяются как две самостоятельные системы. Иными словами, происходит не структурное, а чисто функциональное объединение (за счет того, что они не употребляются в одних и тех же ситуациях).

Отталкивание от русского языка в период второго южнославянского влияния имеет место и в сфере орфографии, которая приобретает вообще принципиальное и самостоятельное значение в этот период, поскольку именно здесь наиболее наглядно проявляется связь с южнославянской традицией. Ранее написание в принципе ориентировалось на книжное произношение; при этом книжное произношение в целом ряде случаев не было противопоставлено живому произношению, и, соответственно, в той или иной степени могло отражать реальные фонетические процессы, происходившие в разговорном языке. В результате второго южнославянского влияния писцы начинают ориентироваться на собственно орфографическую традицию, привнесенную извне и резко расходящуюся с произносительными навыками. Поскольку этот процесс, как правило, не затрагивает книжного произношения, происходит обособление орфографии и, соответственно, размежевание орфографической и орфоэпической традиции (ранее непосредственно связанных). Таким образом увеличивается дистанция между церковнославянским и русским языком, которые и в этой сфере начинают противопоставляться друг другу.

¹ Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). – М., 1994. – С. 54–112.

Б. А. Успенский

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА¹

Становление нового русского литературного языка, который противопоставляется в языковом сознании языку церковнославянскому, осуществляется в условиях активного западноевропейского влияния на русскую культуру. Возникновение этого нового литературного языка в большой степени связано с идеологией Петровской эпохи и непосредственно с петровскими реформами — в частности, с реформой русской азбуки, четко размежевавшей церковную и гражданскую (светскую) письменность. Петр I принимал самое непосредственное участие в работе по определению формы новых букв, считая это делом первостепенной государственной важности: новые формы букв знаменовали новую культурную ориентацию. Что же это была за ориентация?

По своему происхождению гражданский шрифт связан со скорописью, т.е. именно с тем типом письма, который ассоциировался именно с русским, а не с церковнославянским языком. Одновременно начертания гражданских букв оказываются приближенными к латинице. Соответственно, современники могли усматривать в противопоставлении русской церковной и гражданской азбуки противопоставление греческого и латинского алфавита. Это объединение русской и западной культурно-языковой стихии в их общей оппозиции церковнославянскому началу соответствует восприятию русского языка, как языка, насыщенного заимствованиями и открытого вообще — в отличие от церковнославянского — для иностранных культурных влияний. Новые формы букв имеют таким образом символическое значение, выступая как знак культурной ориентации.

Не менее важно функциональное противопоставление церковного и гражданского шрифта и, соответственно, церковнославянского и русского языка. Уже само название «гражданская» азбука чрезвычайно знаменательно, поскольку оно сразу же связывает соответствующие буквы именно со специфически русскими текстами. На обороте переплета утвержденной гражданской азбуки 1710 г. Петр I написал: «Сими литеры печатать историческия и мануфактурныя книги, а которыя подчеркнуты [имеются в виду славянские кириллические буквы, которые он подчеркнул] тех в вышеописанных книгах не употреблять. Таким образом сразу было установлено противопоставление взаимоисключающего характера: подобно тому, так церковные книги (т.е. книги на церковнославянском языке) не могли быть напечатаны гражданским шрифтом, так и граждан-

ские книги (которые так или иначе ассоциировались теперь с русским языком) не могли быть напечатаны церковными буквами. Между тем, ранее, как мы знаем, применение церковнославянского или русского языка было в принципе обусловлено не содержанием, но культурным статусом текста.

В дальнейшем, по мере того, как церковнославянский язык приобретает узкие функции культового языка, церковная азбука оказывается в привативной, а не в эквиполентной оппозиции по отношению к азбуке гражданской: церковной азбукой считается возможным печатать исключительно церковные тексты, тогда как гражданской азбукой могут печататься как светские, так и духовные книги. Показательна в этом плане неудача Третьяковского, попытавшегося в 1757 г. напечатать церковным шрифтом светскую книгу, а именно поэму «Феоптия»: Третьяковскому было отказано, причем в отказе фигурировала ссылка на «подлость» языка.

... Наряду со строительством новой России, новой русской культуры, была выдвинута задача создания нового литературного языка — иными словами, создание нового литературного языка выступает как принципиально важный момент в процессе европеизации русской культуры.

Это строительство новой России при Петре I носило символический и сознательно мифологизирующий характер. Знаменательно, например, что наряду со строительством каменного Петербурга, призванного олицетворять собой новую Россию, Петр накладывает по всей стране запрет на строительство каменных зданий: таким образом фактически создается образ старой, деревянной России, т.е. России прошлого — образ, вообще говоря, не вполне соответствующий действительности. Равным образом, заставляя своих граждан носить новое, европейское платье, Петр одновременно превращает традиционный русский костюм в «потешный», т.е. карнавальный. Создание новой русской культуры предполагало сознательную дискредитацию старой: новое создается за счет старого, как его антипод. Совершенно так же создание нового литературного языка, предназначенного для светских нужд, — непосредственно связанное с реформой азбуки и размежеванием церковной и гражданской письменности — оставляло за традиционным церковнославянским языком права и функции языка церковного, культового, каким он в конце концов и стал (ранее, как мы знаем, его использование отнюдь не сводилось к этой функции, хотя связь с богослужением всегда определяла отношение к этому языку).

Итак, создание нового литературного языка определяется не столько реальной необходимостью, сколько идеологическими потребностями, обусловленными в свою очередь культурной ориентацией: эта задача выступает и формулируется как своего рода социальный заказ.

Но как строить этот литературный язык? Каким он должен быть? Ответы на этот вопрос могли быть самыми разными, поэтому первые опыты создания литературного языка носят экспериментальный характер: в XVIII в. тексты, написанные разными авторами и претендующие на литературность, могут существенно различаться в языковом отношении, не образуя при этом стилистического противопоставления. В это время выдвигаются разнообразные языковые программы, отражающие различные концепции литературного языка. Все они так или иначе идеологически окрашены: так или иначе, позитивно или негативно, они связаны с западным и культурным влиянием, с европеизацией русской культуры.

Первые опыты создания нового литературного языка обнаруживают самую непосредственную связь с западноевропейским влиянием: такова языковая программа В. Е. Адодурова и В. К. Третьяковского. Адодурову принадлежит первый последовательный опыт кодификации русской речи (1738—1740 гг.), т. е. первая грамматика русского языка, предназначенная для самих его носителей; появление такой грамматики со всей очевидностью свидетельствует о новом культурном статусе русского языка или же во всяком случае о претензии на подобный статус. Третьяковский является автором программных выступлений по проблемам литературного языка. Оба автора реализуют свои идеи на практике, прежде всего в переводческой деятельности. В первой половине XVIII в. заявления Третьяковского и Адодурова обнаруживают разительное сходство и даже текстуальную близость: они работали, по-видимому, в непосредственном контакте и должны рассматриваться вообще скорее как соавторы, чем как самостоятельные фигуры. У Адодурова и Третьяковского мы находим отчетливо сформулированную языковую программу, но само направление было характерно, кажется, для довольно широкого круга лиц, в 1730-е годы к нему принадлежали, в частности, Ломоносов, Кантемир, Татищев.

В отличие от своих единомышленников Адодуров и Третьяковский непосредственно занимались кодификацией русского литературного языка. Это проявляется как в определении языковых норм (грамматика Адодурова 1738—1740 гг., орфографический трактат Третьяковского 1748 г.), так и в обучении русскому языку. Само обучение русскому язы-

ку было новшеством и показывало, что русский язык включен в число культурных языков, которым можно и нужно обучаться.

Языковая концепция Адодурова и Третьяковского в это время основывается на сознательной ориентации на западноевропейскую языковую ситуацию и заключается в стремлении перенести ее на русскую почву, т.е. создать здесь литературный язык того же типа, что и западноевропейские литературные языки. Отсюда закономерно следует принципиальная установка на разговорную речь, т.е. на естественное употребление (*usus loquendi*), а не на искусственные книжные нормы (*usus scribendi*): русский литературный язык должен быть организован так же, как, например, французский литературный язык, который не противопоставлен разговорному употреблению.

Установка на употребление обуславливает требование писать, как говорят (которое у Третьяковского и Адодурова распространяется даже на орфографию), и протест против «глубокословных славенщизны», т.е. против славянизмов в той мере, в какой они ощущаются как таковые. Так, в 1730 г. Третьяковский публикует перевод романа Поля Талемана «Езда в остров Любви» (Paul Tallemant. *Le voyage de l'isle d'amour, a Licidas*); эта публикация призвана была открыть новую страницу как в истории русской литературы (которая не знала подобных жанров), так и в истории русского литературного языка. В программном предисловии к этой книге Третьяковский обращается к читательской аудитории со следующим предупреждением: «На меня, прошу вас покорно, не изволте погневаться (буде вы еще глубокословныя держитесь славенщизны), что я оную [книгу] не славенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собой говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык славенской у нас есть язык церковной; а сия книга мирская. Другая: язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь темен, и многия его наши читая не разумеют. А сия книга есть сладкия любви, того ради всем должны быть вразумительна. Третья: которая вам покажется, может быть, самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть что язык славенский ныне жесток моим ушам слышится...» (Третьяковский, III, с. 649—650).

Итак, говоря о причинах, не позволивших ему перевести роман Талемана на церковнославянский язык, Третьяковский прежде всего ссылается на то, что церковнославянский язык есть язык церковный и поэтому неуместен в книге мирского содержания. Это заявление непосредственно связано с петровской реформой азбуки, которая положила начало, как мы знаем, четкому размежеванию церковных и гражданских (мирских) книг, соотнося это противопоставление с формальными язы-

ковыми признаками. Третьяковский заявляет здесь в сущности о своей верности петровской программе, он выступает именно как продолжатель петровского начинания: то, что начато на уровне графики, продолжается теперь в более широком масштабе. Равным образом, говоря о второй причине, т.е. ссылаясь на темноту (непонятность) церковнославянского языка, Третьяковский цитирует «Духовный регламент» Феофана Прокоповича (1718—1720 гг.), где церковнославянские тексты также характеризуются как «темные». <...> Замечательно, вместе с тем, что наиболее важной Третьяковский демонстративно объявляет третью причину, а именно то обстоятельство, что церковнославянский язык воспринимается им как «жесткий», т.е. грубый, неестественный. Эпитет «жесткий» представляет собой семантическую кальку с фр. dur; это слово противопоставляется вообще у Третьяковского эпитету «нежный», который, в свою очередь, выступает как семантическая калька с фр. delicat. При этом живые языки (такие, как русский или французский) — определяются вообще у Третьяковского как «нежные» в противоположность мертвым языкам (церковнославянскому или латыни), которые квалифицируются им как «жесткие» или «угрюмые», причем последний эпитет представляет собой семантическую кальку с фр. serieux; зависимость от западноевропейских лингвистических теорий (восходящих в конечном счете к Данте) здесь совершенно очевидна. Характерна апелляция к критерию вкуса как к эстетическому критерию, которым следует руководствоваться в языковом нормировании: выбор языкового кода впервые осмысливается при этом именно как эстетическая задача. Заметим, что в предисловии Третьяковского к «Езде в остров Любви» впервые содержится отрицательная характеристика церковнославянских средств выражения. ...

Ориентируясь на западноевропейскую языковую ситуацию, первые кодификаторы, и прежде всего Третьяковский, стремятся построить новый литературный язык по модели французского литературного языка. Третьяковский прямо заявляет в это время, что пути создания русского литературного языка должны быть такими же, как пути создания других европейских языков, причем именно французский является для него основным ориентиром. Он является инициатором учреждения Российского собрания при Академии наук, которое было организовано в 1735 г. по образцу Французской академии и призвано было выполнять те же задачи; деятельность Российского собрания должна была заключаться в составлении грамматики, словаря, в переводах и вообще в исправлении языка (в рамках реализации этой программы и была создана пространная грамматика Адодурова). ...

В соответствии с такой установкой русская языковая ситуация мыслится по модели западноевропейской языковой ситуации. Поэтому противопоставление церковнославянского и русского описывается в терминах западноевропейской оппозиции латыни и живых романских языков. В примечании к одному из своих переводов Тредиаковский заявляет: «Подлинно, что Российской язык все свое основание имеет на самом Славенском языке; однако, когда праведно можно сказать, что Французской, или лучше, Италианской, не самой Латинской язык, хотя и от Латинскаго происходит; то такоюж справедливостию надлежит думать, что Российской язык есть не Славенской; ибо как Италиянец не понимает, когда говорят по Латински, так мало и Славянин, когда говорят по Российски, а Россиянин, когда по Славенски». Здесь особенно отчетливо выражено восприятие церковнославянского и русского как разных и в принципе равноправных по своей функции языков; при этом церковнославянский соотносится с латынью, а русский — с живыми романскими языками, такими, как французский или итальянский. В «Слове о витийстве» 1745 г. Тредиаковский превозносит достоинства французского языка как «приятнейшего, сладчайшего, учтивейшего и изобильнейшего» из всех европейских языков, примеру которого подражают «премногие учтивейшие и просвещеннейшие в Европе народы»; одновременно Тредиаковский выступает против исключительной роли латинского языка как языка науки и образованности. По мысли Тредиаковского, русский язык должен следовать примеру французского, которому удалось утвердиться в качестве национального языка в самых разных областях культуры: там, где во Франции употребляется французский язык, в России должен употребляться русский. ...

... Непосредственным же источником воззрений Тредиаковского оказались идеи известного французского филолога XVII в. Клода Вожела (Vaugelas), а также его последователей. <...> Предпочтение употребления правилам («грамматике») отчетливо звучит в речи Тредиаковского к членам Российского собрания: «Украсит оной [наш язык] в нас двор Ея Величества в слове наиучтивейший, и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшия Ея Министры и премудрейшия Священноначальники, из которых многие, вам и мне известные, у нас таковы, что нам за господствующее правило можно бы их взять было в Грамматику...» (Тредиаковский, 1735, с. 13). Именно возможность опоры на употребление и определяет, с точки зрения Тредиаковского, преимущество живых национальных языков (таких, как французский или русский) перед мертвыми (такими, как латынь или церковнославянский), где есть только правила, но нет критерия употребления.

Такова языковая программа 1730-х гг. Эта программа явно связана с петровскими начинаниями и может рассматриваться вообще как естественное продолжение петровской реформы. Вместе с тем, программа эта имела в сущности утопический характер: ее практическая реализация неизбежно должна была столкнуться с трудностями, которые очень скоро заставили от нее отказаться. Эти трудности заключались, с одной стороны, в отсутствии кодификации разговорной речи, с другой — во влиянии церковнославянской литературной традиции, которая в значительной мере определяла навыки творческой деятельности.

Так, ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию выдвигает программное требование писать, как говорят, т.е. установку на разговорное употребление. Таким образом, разговорная речь оказывается включенной в сферу литературного языка, т.е. она может соответствовать или не соответствовать языковой норме (норме литературного языка). Отсюда встает вопрос о том, как следует говорить — вопрос, который ранее вообще не относился к компетенции литературного языка. В самом деле, установка на разговорную речь предполагает ориентацию на тот или иной социальный или локальный диалект (например, речь престижного социума или же речь культурного центра).

Для французского литературного языка ... была характерна в это время ориентация на социальный диалект. <...> Однако в России, в отличие от Франции, не было особого социального диалекта светской общности.

Как мы знаем, для диглоссии нехарактерна социолингвистическая дифференциация общества и она еще не успела появиться в России. Разумеется, здесь были локальные диалекты, однако в ситуации диглоссии язык культурного центра (например, Москвы) никак не ассоциировался с культурными ценностями, т.е. не имел престижного характера; соответственно, ориентация на локальный диалект не имела традиции в России и, вместе с тем, не находила поддержки во французских языковых теориях.

Таким образом, призыв ориентироваться на разговорную речь не имел реальной основы. Во Франции кодификация устной речи приводит к созданию литературного языка, ориентированного на разговорную речь; напротив, в России появление литературного языка нового типа, т.е. языка, в компетенцию которого в принципе входит и разговорная речь, предвосхищает кодификацию этой последней — сначала создается литературный язык и затем на нем начинает говорить культурная элита. Программа Третьяковского и Адодурова была, в сущности, устремлена в будущее. ...

... Тексты, создаваемые в рамках данной программы, весьма существенно отличались от разговорного узуса; в результате образовывалась дистанция между литературным и разговорным языком, что отличало русскую языковую ситуацию от западноевропейской и, вместе с тем, приближало ее к ситуации диглоссии. В то же время эта программа вступала в конфликт с литературной традицией и с самого начала заставляла идти на компромиссы.

Все вместе взятое заставляет Третьяковского, а также Ломоносова и Кантемира, отказаться от данной программы. Основная роль и на этот раз принадлежит Третьяковскому, который вообще задает тон в это время.

Во второй половине 1740-х гг. Третьяковский резко меняет свою концепцию литературного языка. Если в начале своего творчества Третьяковский ориентируется на западноевропейскую языковую ситуацию, то теперь, напротив, он исходит из признания специфики языковой ситуации в России по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее — в условиях церковнославяно-русской диглоссии, когда литературным языком был церковнославянский. ...

Можно сказать, что Третьяковский стремится теперь воссоздать ситуацию диглоссии в специальных рамках гражданского языка: русский литературный язык мыслится, в сущности, как гражданский вариант церковнославянского, приспособленный к расширяющимся потребностям литературного развития. <...> Вообще заимствования из новых европейских языков, которые наблюдаются у Третьяковского в первый период творчества, в общем нехарактерны для второго периода; если ранее Третьяковский выступал как проводник и проповедник западноевропейского влияния, то теперь, напротив, это влияние признается вредным или во всяком случае опасным для русского литературного языка — спасение от него Третьяковский видит в обращении к церковнославянской традиции.

Так обозначились полярно противоположные пути формирования русского литературного языка; оба они связаны с именем Третьяковского. <...> Попытка примирить эти концепции содержится в программе М. В. Ломоносова (вторая половина 1750-х гг.), которая имеет таким образом компромиссный характер: эта программа направлена на объединение в рамках русского литературного языка книжной и разговорной стихии.

¹ Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). – М., 1994. – С. 115–183.

С. С. Высокский

УТРАТА СРЕДНЕГО РОДА В ГОВОРАХ К ЗАПАДУ ОТ МОСКВЫ¹

<...> В ряде говоров имена существительные среднего рода в известных случаях принимают окончания в косвенных падежах, свойственные именам не среднего рода, а также согласуются с прилагательными, местоимениями и причастиями не среднего рода.

Исчезновение среднего рода пошло по двум руслам: первое из них – замена среднего рода женским, что наиболее изучено, территориально определено (этот переход известен в южнорусских говорах, расположенных, в основном, на юг и юго-восток от Москвы) и объяснено фонетическими причинами, и второе – замена среднего рода мужским, что менее изучено, территориально не вполне определено и некоторыми авторами неверно объяснено фонетическими причинами, хотя при истолковании этого явления совокупность фактов вполне может показать морфологическую природу данного перехода.

<...> В условиях акающих говоров существительные среднего рода с ударением на основе фонетически не отличаются по флексии в им.п. ед.ч. имен жен. р. на *-а*, на почве чего появляются такие формы согласования, как *моя́ плáтья, одна́ дéрева* (по типу – *моя́ хáта* и т.п.). В некоторых говорах это распространяется и на существительные среднего рода с ударением на окончании (*другáя окнó*). Дальнейший процесс замены у имен существительных признаков среднего рода признаками женского рода обнаруживает по говорам разные стадии развития. Кое-где ряд косвенных падежей может образовываться по типу склонения имен женского рода на *-а* (шире – вин. падеж, ограниченнее – родит. и дат. падежи, причем выявляются различия, например, в зависимости от места ударения в слове: при ударении на флексии – *всю селó*, но при ударении на основе – *всю лéту*). <...> Полной замены парадигмы склонения имен среднего рода посредством парадигмы склонения имен жен. р. на *-а*, последовательно проведенной для всех типов словообразования и лексем, не найдено ни в одном русском говоре, как бы далеко описываемый процесс ни зашел. Иными словами, абсолютного грамматического объединения существительных среднего и женского рода в одной категории женского

рода нигде еще не произошло и вряд ли произойдет ввиду все более возрастающего влияния литературного языка на говоры.

Некоторые авторы, говоря об утрате в говорах среднего рода, объясняют это фонетическими причинами, так как имеют в виду лишь переход среднего рода в женский².

Переход среднего рода в мужской не упоминается совсем, или это менее распространенное явление не отделяется от перехода среднего рода в женский и так же, но с меньшим основанием, относится к изменению форм на фонетической основе. Например, С. И. Абакумов в работе “Современный русский язык”, 1942, с. 66. трактует переход существительных среднего рода в женский или мужской род как явление, свойственное южнорусским говорам и возникшее на почве аканья; академик С.П. Обнорский говорит, что “ближайшим образом пути изменения среднего рода в направлении к мужскому можно вести от таких сочетаний, как *свежее яйцо, цветное платье, белое полотенце* и под., где флексия прилагательной формы, редуцируясь в условиях акающей речи, легко могла редуцироваться до полной утраты в ней конечного гласного элемента... Но возникшая таким образом форма оказывалась совершенно одинаковой с формой прилагательного муж. рода, что и закрепляло в данных сочетаниях представление о существительных *яйцо, платье* и т.д. как об именах муж. рода. Отсюда естественно было дальнейшее образование сочетаний, как “*твой весь яйцо*”³. Таким образом, автор предполагает в основе данного явления чрезвычайно сильную редуцицию окончания прилагательного среднего рода (-e), вплоть до полного исчезновения звука, выражающего флексию.

В противоречие этому накопленный материал не обнаруживает ни в одном говоре фонетической редуциации подобного типа, охватывающей специально слова данной грамматической категории. Если бы такая редуция и была известна, то она неудержимо должна была бы захватить и безударное *a* в том слабом положении, в котором оно существует в сходных окончаниях женского рода (т.е. из *белая рубашка* получилась бы форма *бѣльй рубáшка*, как *бѣльй пълатнó*). Поэтому надо еще объяснить, почему же прилагательные женского рода не совпадают по форме с прилагательными мужского рода. Очевидно, фонетическое истолкование перехода среднего рода в мужской недостаточно. Н. Дурново в “Описании говора дер. Парфенок” правильно подчеркивает его морфологическую основу.

Подтверждение этого можно видеть в диалектологическом материале, характеризующем местность на запад от Москвы. Здесь находится один из основных районов распространения замены среднего рода мужским.

Этот район (не сплошной, так как на этой же территории расположены вперемежку говоры, не представляющие данной диалектной черты) намечается в пределах узкой полосы среднерусских переходных говоров и некоторых южнорусских, примыкающих к ним с юга. <...>

В диалектологической литературе есть указания на существование данной диалектной черты также и в ряде севернорусских говоров (например, в северо-восточной европейской части России и в Сибири) и, спорадически, в южнорусских говорах – преимущественно на юго-востоке (частично в говорах недавних переселенцев из центральных местностей России). <...>

Анализ материала показал, что наиболее архаический слой ряда говоров указанной территории обнаруживает результаты массового перемещения слов среднего рода в категорию слов мужского рода. Это может быть следом сходного процесса, некогда протекавшего в ряде европейских языков, когда исконное сходство склонения имен мужского и среднего рода дало повод к дальнейшему приближению парадигмы среднего рода к парадигме мужского рода, что послужило основанием и к соответствующим переменам в области родового согласования.

<...> Можно указать на несколько факторов, несомненно способствующих общей тенденции изживания именно среднего рода.

Наблюдение над словарным составом русского языка приводит к заключению, что имена существительные среднего рода занимают в нем незначительное место.

Нельзя не считаться с простым подсчетом и группировкой по родам слов – имен существительных, употребляемых в разговорном языке крестьянской среды, представляющем архаический слой говора (сюда включается и пассивный лексический запас). Если имен существительных мужского рода отмечено 2006 (40%), женского – 2225 (44%), то на долю среднего рода остается лишь 818 слов, т.е. только 16% общего числа существительных. Иначе: существительных среднего рода в 2,5 раза меньше, чем существительных мужского рода и почти в 3 раза меньше, чем существительных женского рода. <...>

Положение в языке имен существительных выясняется тем ярче, если обратиться не к абсолютным, а к относительным величинам – к употреблению имен существительных среднего рода в живой речи.

С колебанием, в зависимости от тематики, жанра и прочих условий, имена существительные среднего рода в потоке живой речи встречаются крайне редко. Изучая сплошные тексты записей говора, можно найти много страниц без единого примера этой категории.

Анализ состава имен существительных среднего рода в отношении их формативов убеждает в том, что самые употребительные слова, обозначающие предметы, дошедшие до нас от архаического бытового уклада, обладают непродуктивными теперь элементами *-ено*, *-ище*, *-ево* и др. или не имеют суффикса. <...> Абсолютное количество слов с такой структурой не увеличивается, Наоборот, употребление имен существительных среднего рода, принадлежащих к лексике нового культурного быта, в истории говоров всемерно расширяется, особенно в эпоху после Великой Октябрьской революции. Эти слова характеризуются как раз самыми продуктивными в современном русском языке формативами среднего рода. Здесь имеются в виду формативы *-ство*, *-ствие*, *-ение*, *-ание* и другие, образующие главным образом слова отвлеченного значения, характерные по своему употреблению для литературного языка или приближающегося к нему. Слова с такими формативами, в силу особых исторических условий, уже давно вошедшие в бытовой лексический фонд, единичны (например, *лекарство*, *рождество*, *имение*).

Численное преобладание в литературном языке слов подобной конструкции зависит еще от того, что известная группа слов среднего рода имеет соответствием в народных говорах группу слов не среднего рода, имеющих то же или родственное значение. Это касается группы отглагольных существительных (ср. пары слов: *бороньба* – *боронование*, *откачка* – *откачивание*, *навой* – *навивание* и т.п.).

Благоприятную почву для дифференциации склонения имен мужского и среднего рода представляет множественное число, в котором различаются образованием именительный, винительный и родительный падежи мужского и среднего рода. Но значительное количество слов среднего рода не образует множественного числа совсем или преимущественно. Склоняясь только в единственном числе, они за исключением именительного и винительного падежей совпадают своими флексиями со словами мужского рода. Сюда относятся, например, такие категории слов, как слова со значением вещественным (*золото*, *масло*), собирательным (*тряпье*, *воронье*), слова, обозначающие действия и состояния (*мытье*), слова с отвлеченным значением (*упорство*).

Фактически эта группа расширяется включением в нее тех слов, множественное число от которых образуется лишь потенциально, но на практике почти или совсем не встречается (ср. такие примеры, как *лето*, *рождество*, множественное число от *дно*, *пузо* в контекстах, обычно, не попадает. Характерно незнание формы *донья*, заменяемой иногда посредством *дны*).

Указанный фактор – сравнительно ограниченное употребление имен среднего рода в живой речи той среды, где формируется говор, – может представлять одно из общих условий, стимулирующих изживание категории среднего рода.

Второе, частное, условие, наличное в рассматриваемой группе говоров, уже прямо способствует переходу среднего рода в мужской. Речь идет о ярко выраженной здесь тенденции к унификации склонений обоих родов, чем эти говоры отличаются от иных, расположенных, например, на юг и восток от Москвы.

Говоры на запад от Москвы представляют значительное развитие парадигмы склонения имен среднего рода в сторону парадигмы мужского рода, и не может быть простым совпадением, что именно здесь обнаруживается ареал замены среднего рода мужским.

Если в литературном языке окончания падежей имен среднего рода отличаются от окончания падежей мужского рода только в именительном – винительном падежах единственного числа и в именительном – винительном – родительном падежах множественного числа, то в рассматриваемых говорах это различие сведено до минимума, так как при сохранении в среднем роде старой формы именительного – винительного падежей единственного числа, в парадигме множественного числа здесь произошли следующие изменения.

В именительном и винительном падежах широко распространена флексия *-ы (и)* в следующих условиях:

а) в словах с ударением на основе она обязательна (*о́кны, го́рлы, лека́рствы, полотéнцы, полóтници, дере́вьи, имéньи, колёсы*);

б) с ударением на флексии еще представлены формы на *-а* (*поля́, зерка́ла, жерновá, стада́, дела́*), но именно эти говоры знают иное оформление ряда таких слов – с ударением, оставленным на основе и с окончанием *-ы (и)* – как параллельные варианты: *же́рновы, зе́ркалы, те́лы, се́рдцаы, ста́ды, по́ли*. В качестве следующей ступени развития некоторые слова представляют и ударяемую флексию *-ы (и)*: *гумны́* (обычнее – *гу́мны*), *ситы́, свяслы́, бельмы́, крыльцы́, челы́* (у печки), *дере́вья повалёны, сены́ плохи́е*; отмечено даже – *средствы́*. Ср. заимствование *пальты́* (обычнее – *по́льты*). Смешанное употребление таких параллельных вариантов показывает преобладание форм на *-ы (и)* в говорах, расположенных дальше на запад.

Отдельно следует указать на немногочисленные слова старых основ на ***en**: слово *семена́* еще существует, но его может заменять во всех его значениях слово *зе́рны* (*оста́вить на зе́рны; собра́ли на зе́рны*); от *стре́мя* или *стре́менó* множественное число обычно – *стре́ми, стре́мё-*

ны, так же: *вými, тéми* (*насéдка тéми цыплятам клóет*). Устойчивее всего форма одного из самых употребительных слов этой группы – *именá*, хотя встречается *имёны* или даже *íми* (*íми даны́ не по календарю́*). Прочие слова с этим формативом занимают несколько особое положение: от *врéмя* множественное число не отмечено; *знамёна* в значении ‘флаги’ осознается в местных условиях как городское заимствование; *плéмя* во множественном числе не отмечено, да и единственное число употребляется лишь в наречном выражении *на-племя́* (*оста́вить тёлку на-племя́*), а также во фразеологическом сочетании – *како́го рóду-плéмени*.

Перечисляя случаи расхождения говоров с литературным языком в образовании форм множественного числа среднего рода на *-ы (и)*, следует указать и на их общие формы – это старые форм двойственного числа – *у́ши, колéни* (при новообразовании в говоре – *колéны*) и наличие таких окончаний у слов среднего рода на *-ко* с неподвижным ударением (*л́ьки, я́блоки, пёрышки*). С ударением на окончании существует форма *облака́*, но рядом встречаются и параллельные образования с неподвижным ударением и окончанием *-и*: *о́блаки, во́йска*.

Таким образом, в именительном и винительном падежах множественного числа слова среднего рода получили преобладающее окончание *-ы (и)*, одинаковое с самым употребительным в этой группе говоров окончанием имен мужского рода. Характерно, что некоторые имена мужского рода вместо флексии *-а* в ряде местных говоров также представляют флексию *-ы (и)* (*возы́, стогы́, дома́, лесы́*; с неподвижным ударением: *го́ды* с колебанием *годá и годы́, гла́зы*, но и – *глазы́ выколю́*).

В области второго различия двух парадигм среднего и мужского рода окончание родительного падежа множественного числа здесь также представляет широкую картину унификации.

Имена среднего рода в этом падеже оформляются по типу склонения мужского рода. Окончание *-ов (-ев)* известно как под ударением, так и без ударения (*о́кнов, брёвнов, пíсьмов, стлíщев, топорíщев, ва́резов, кру́жесов* <...>, наряду с *имён – именóв, полéй – полёв, семенóв*; с переносом ударения: *окно́в, сердцо́в, кружесо́в, общество́в*).

В говорах этой же местности флексия *-ов* проникла в склонение многих имен мужского рода (типа *арши́нов, солда́тов, дождёв, ягнёнков*) и может образовывать параллельные формы от некоторых имен женского рода (*сва́дьбов, ло́жков, элев, ре́ков, избо́в, дево́чков*, наряду со *сва́деб, ло́жек* и т.д.).

Потеряв свое характерное склонение, существительные среднего рода примкнули к категории мужского рода. На почве этого явления в некоторых словах возникла перестройка формативов. Отмечены примеры

(именительный падеж единственного числа) – *я́блок, крыле́ц, крыле́чек, о́блак, озеро́к, озеро́чек, полоте́нец, коромы́сел, пря́сел, прису́тствий, настро́ений*. Из этих форм вполне устойчивы лишь *я́блок, крыле́ц, о́блак, полоте́нец*; другие известны в параллельных вариантах с первичной формой.

Перестройка парадигмы среднего рода в сторону ее сближения с парадигмой мужского рода создала базу для широкого применения новых согласований. Синтаксическая схема уже свидетельствует, что слова, принадлежавшие некогда к категории среднего рода, носителями данных говоров осознаются как слова мужского рода.

Этот процесс охватил и группу субстантивированных прилагательных и причастий, что иллюстрируется примерами: *мой лёгкое отшиблен; приданое бедный; лошадей гонят на ближний ночью; жареное не поспел; весь доброе погорел*. <...>

Безусловно сохраняют элементы среднего рода все конструкции безличных предложений с глаголами прошедшего времени: с безличным глаголом – *пришлось перебираться; откуда только взялось*; с личным глаголом – *снесло ветром*; с кратким страдательным причастием на *-о* – *не велено ходить*, в сочетаниях с частицей *оно*: *оно конечно оно правда, совестно*.

Форма среднего рода сохраняется и в сочетаниях, в которых наличествуют или подразумеваются неопределенные местоимения – *что-нибудь, нечто, что-то*, согласуемые, как и в литературном языке, со средним родом: *приснилось худое; кое-что спрятано; случилось что-то плохое*. Подобные конструкции вообще редко встречаются в потоке живой речи, а некоторые неопределенные местоимения, как *нечто*, не принадлежат к лексическому составу архаического слоя говоров. <...>

Со временем принцип замены среднего рода мужским утратил свою жизненность. Лексический слой новых, в основном, культурных заимствований образовался уже в такую эпоху развития городов, когда последние подверглись влиянию новых тенденций, известных в южнорусском наречии. Говоры восприняли отдельные лексические заимствования – слова, по происхождению среднего рода, но уже оформленные в женском роде. Возможно, что такое изменение рода как результат известных фонетических явлений стало продуктивно и на местной почве, и тогда вновь поступающий в говор лексический материал среднего рода перерабатывался соответствующим образом, как во многих южнорусских говорах.

Но лексический слой, перемещенный некогда из среднего рода в мужской, столь прочно закрепился в своем грамматическом оформлении,

что стал противопоставляться новым заимствованиям – словам женского рода (среднего рода по происхождению). <...>

Фонетические и морфологические черты многих говоров на исконно русской территории представляют одинаковые предпосылки для процесса вытеснения среднего рода. Однако это осуществляется не везде равномерно, а во многих местах, в силу каких-то, пока не вскрытых, социально-исторических причин, полностью сохранилось архаическое распределение имен по трем родовым категориям. <...>

Для говоров, некогда более решительно перешедших на систему двух родов, встает необходимость вновь принять из литературного языка употребление среднего рода. Это протекает не всегда безболезненно. <...>

¹ Высотский С. С. Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы // Докл. и сообщ. Ин-та рус. яз. – Вып. 1. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 80-101.

² Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. – Ч. 1. – Брно, 1927.

³ Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. – Вып. 1. – Л., 1927. – С. 53.

Т. С. Коготкова

СТЯЖЕНИЕ ГЛАСНЫХ В РУССКИХ ГОВОРАХ В ЕГО ОТНОШЕНИИ К РАЗЛИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ¹

Явление, известное в русской диалектологии как стяжение, в своем происхождении обусловлено процессами фонетическими. Сущность его сводится к утрате междугласного *j* и последующему стягиванию двух одинаковых гласных звуков в один (ср.: *краснаја* > *краснаа* > *краснā* > *красна*). Если же рядом находятся неодинаковые гласные, то стягиванию предшествует момент ассимиляции (ср.: *знáјэт* > *знáэт* > *знáат* > *знāт* > *знат*). Однако, охватывая те части слова, которые приходились на стык морфем (чаще основы и флексии), стяжение в дальнейшем своем развитии переросло в явление фонетико-морфологическое или даже чисто морфологическое. Неморфологизированное стяжение, т.е. не связанное с морфемой (или стыком морфем и возможное в любом месте слова, встречается в говорах очень редко. Для истории любого языка особое значение получают “пограничные” вопросы различных сторон языка; стяжение гласных как раз и принадлежит к таковым.

Морфологизация стяжения не зависит от степени завершенности процесса стяжения в фонетическом отношении. Даже “живой” процесс стяжения, как правило, является морфологизованным, ибо он также за-

крепляется за определенными морфемами и потому не является чисто фонетическим.

Вопрос о степени морфологизации может быть поставлен в плане охвата стяжением большего или меньшего количества грамматических категорий. Например, в одном говоре стяжение отмечено в формах настоящего времени глагола, во всех формах прилагательного (где есть необходимые фонетические условия), в другом же проникает также и в формы прошедшего времени глагола, в основу существительного, в стык постпозитивного члена и флексии существительного и прилагательного: *урожа́j-от > урожа́от, сара́jах > сара́ах, молодój-от > молодó-от*. В первом случае можно говорить о бо́льшей морфологизации, о более строгом закреплении стяжения за ограниченным количеством морфем, во втором случае следует говорить о меньшей степени морфологизации.

Стяжение гласных в русских говорах чаще всего происходит в тех морфологических категориях, внутренняя структура которых обуславливала и определяла данный фонетический процесс.

Это глаголы, восходящие к древним глаголам I и III классов с суффиксами *j* и *je* в формах настоящего времени, прилагательные, членные формы которых образовались с помощью суффиксов *i(jь)*, *ja*, *je*, сравнительная степень прилагательного, древний суффикс которой был *ěje*.

Сам морфологический состав данных грамматических форм обуславливал фонетический процесс стяжения. Естественно потому, что стяжение происходит в соответствующих позициях в данных формах чаще, чем внутри корня, где фонетические условия для этого менее вероятны. Первоначальное закрепление стяжения за определенными морфемами и есть начало морфологизации этого процесса. В свою очередь морфологизация способствовала ускорению фонетического процесса стяжения.

Наблюдение над бытованием стяжения в различных говорах русского языка, объединенных между собой генетически или территориально <...> позволяет установить ход и распространение морфологизации по перечисленным выше грамматическим категориям.

Стяжение в прилагательном и в глаголе

Основная масса северновеликорусских говоров представляет стяжение именно в этих грамматических категориях. <...>

В отдельных северновеликорусских говорах, где есть переход заударного *e* в *o*, в глаголе отмечены только формы без утраты *j* типа *зна́jош, де́лаjот* и т.п., в прилагательных же наблюдается стяжение гласных. Таких говоров немного. <...> Возможно, наличие стяженных форм в прилагательных и отсутствие их в глаголе <...> объясняется более позд-

ним, чем явление стяжения, возникновением форм на *-jo* в глаголе. В говор под влиянием литературного языка проникают формы типа *дúмајет*, но, попав под воздействие местной фонетики, а может быть, для упрочения произношения *j* (который обычно в формах на *-jo* не исчезает) они трансформируются в иную диалектную разновидность – *дúмајот*, *дéлајот* и т.п.

В отдельных формах прилагательного остались стяженные формы. Они напоминают в настоящий момент реликт когда-то широко представленного стяжения как в прилагательном, так и в глаголе. В жизни говоров на современном этапе они также исчезают, чему содействует постоянный приток нестяженных форм из литературного языка и отсутствие стяжения в глаголе. Устойчивость стяжения в формах им. и вин. падежей ж. р. прилагательного объясняется еще и тем, что здесь нет условий для перехода *e > o*. Наличие стяжения в этих формах прилагательных является поддержкой для существования его в формах им.-вин. падежей ед. ч. ср. р. и им.-вин. падежей мн. ч. всех родов, где условия перехода *e > o* налицо.

Во многих средневеликорусских говорах стяжение также часто представлено в глаголе и во всех падежных формах прилагательного. <...> Глагол: *бат*, *дúмат*, *спра́шиват*, *стря́пам*, *заку́тасси*, *рабо́тут*, *роспи́сывут*. Прилагательное: *харóши до́ма*, *вот какі́ дéти-ти*, *э́та ста́ра пéсня*, *но́ву зна́ю*. <...> В направлении к западу стяжение в средневеликорусских говорах убывает. В работах, посвященных этим говорам, стяженные формы прилагательных всегда сопровождаются пометой “единичные”

В основной массе южновеликорусских говоров стяжение отсутствует. Отступление в этом отношении представляют говоры, лежащие на границе стяжения. Так, территориально разрозненные единичные стяженные формы в некоторых рязанских говорах объясняются близостью их к говорам с широко представленным стяжением. Стяжение в этих рязанских говорах отмечено уже как застывшее, мертвое, чаще всего при безударном окончании. Закрепляется это стяжение за различными морфологическими категориями. Спорадически встречаются говоры, в которых стяжение гласных представлено сразу в нескольких грамматических формах, преимущественно в прилагательных.

В южновеликорусских акающих говорах, исключая рязанские, стяжения, как правило, нет. Лишь в отдельных из них отмечено стяжение в прилагательных, например: *другу́*, *м'én'шу*, *с'ін'у*, *б'élo* <...>.

Бытование стяженных форм прилагательных в южновеликорусских говорах, пусть даже очень редких, объяснить довольно трудно, можно предположить в этих редких для южнорусского наречия формах реликты

более широкого распространения стяжения в прошлом или же заносные формы, поддержанные, с одной стороны, легкостью и удобством произношения, с другой, существованием омонимичных именных форм.

В ряде говоров, действительно, трудно отличить стяженные формы от кратких. Это имеет место в разобщенных южновеликорусских и переходных среднерусских говорах, где стяжение не является ведущим признаком в системе диалектных отличий говора. В говорах, не имеющих стяжения в глаголе, отмечены краткие формы прилагательных <...>: *добрá кобы́ла, добрó вино́*. На то, что это краткие прилагательные, здесь указывает ударение.

Вопрос об употреблении кратких и стяженных форм имен прилагательных, по всей вероятности, следует решать отдельно для каждого говора. При этом следует помнить о стилистической ограниченности кратких форм (употребляются преимущественно в отдельных жанрах фольклора). В говорах, широко представляющих стяжение во всех грамматических категориях, стяженные формы прилагательных преобладают над краткими. В говорах, знающих к тому же “живой” процесс стяжения, этот вопрос решается легче. <...>

¹ Коготкова Т.С. Стяжение гласных в русских говорах в его отношении к различным морфологическим категориям // Материалы и исслед. по рус. диалектологии. Новая серия. – Вып. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 78-96.

И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко

К ВОПРОСУ О ПОСТПОЗИТИВНЫХ ЧАСТИЦАХ В РУССКИХ ГОВОРАХ¹

Постпозитивные частицы *от, та, то, ту, те, ти, ты*, употребляющиеся в русских говорах, – интересное явление, которое до настоящего времени изучено недостаточно, несмотря на то, что основные связанные с ними факты были установлены уже в конце XII – начале XX в. <...>

В течение долгого времени неясным оставался вопрос о значении постпозитивных *от, то, та...* как в плане синхронном, так и в плане их истории: стояла проблема так называемого постпозитивного члена (членных форм) в русском языке. В настоящее время, по-видимому, следует считать установленным, что постпозитивное указательное местоимение *тъ* трансформировалось в выделительную, усилительную частицу и что категория члена (артикля) на его основе в русском языке не развилась. Положение о том, что постпозитивные *от, та, то...* являются не членом, а частицами, совершенно отчетливо впервые было сформулиро-

вано А.М. Селищевым: “Эти частицы [*от, та, ти, ту, те*] не имеют значения членных элементов, значения, свойственного болгарским *-ът, -та, то, -те*; русские *-от, -та, -то* имеют эмфатическое значение, а не значение определения называемого предмета, не служат для конкретизирования его. Роль этих частиц та же, что и частицы *-то*, которая по севернорусским и среднерусским говорам вытесняет *-от, -та, -ту, -те*. С этими частицами употребляются не только имена нарицательные, но и **собственные**, не только прилагательные и местоимения, но и **наречия**”². Столь же определенное высказывание находим мы и в его “Критических заметках по истории русского языка”: “Только внешнее сопоставление современных болгарских членных форм с русскими сочетаниями на *-то* или на *-от, -та, -то* (*дедом, старухата*) повело к отождествлению их синтаксического значения. Функции этих сочетаний неодинаковы в болгарском и русском языках. В болгарском языке это действительно членные формы, соответствующие немецким *der, die, das* с именем, французским *le, la* с именем и т.п.; в русском же языке сочетания с местоимениями *от, та, то* имели или конкретное указательное значение, или же *-т(-от), -та, -то* выполняли и выполняют функцию эмоционально-экспрессивную”³.

<...> В диалектологических работах последнего времени постпозитивные *от, те, то* и др. обычно относятся к категории частиц. Значение усилительной, выделительной частицы исследователи отмечают как для *от, ту, те, ти*, встречающихся лишь в части русских говоров, так и для *то*, выступающего в одних говорах наряду с *от, ту, те, ти*, в других же – в качестве единственной постпозитивной частицы, сочетающейся с любой формой существительного. В такой же роли выступает частица *то* и в литературном языке⁴.

<...> При изучении постпозитивных частиц в русских говорах возникают также вопросы фонетико-морфологического характера и прежде всего – вопрос о принципах, которыми обуславливается сочетание той или иной частицы с определенными формами имени. <...> Так, установлено, что употребляющиеся в современных говорах частицы выступают главным образом в сочетании с теми же формами существительных, что и формы указательных местоимений, к которым они восходят: частица *от* сочетается обычно с существительными м. р. ед. ч. им.-вин. падежей; *ту* – с существительными ж. р. ед. ч. вин. пад.; *те, ти, ты* – с формами им.-вин. падежей мн. ч. всех существительных; *та* – с формами им. пад. ж. р. ед. ч.; *то* – с им.-вин. падежами ед. ч. существительных ср. р.; кроме того, частица *то* сочетается с формами род., дат., тв., предл. падежей ед. ч. и мн. ч. всех существительных, а также употребляется иногда в со-

четании с теми формами, при которых обычно выступают другие частицы (*бабу-то, стол-то, дома-то*). Сочетаясь, как правило, с именами, постпозитивные частицы выступают иногда при наречиях и глаголах (особенно при инфинитиве).

Исследователи отмечают в области сочетания частиц с существительными такое явление, которое они связывают в процессами фонетического уподобления (ассимиляции) или гармонии гласных: сочетание частицы *ту* с разными формами на *-у* (*к столу-ту, в лесу-ту, нет сахару-ту*), частицы *те* – с формами на *-е* (*на столе-те, жене-те*) и т.д.⁵.

<...> Та или иная частица может выступать в сочетании и с другими формами имени: *домов-ту, стола-ту, к бабе-ту; песен-те, в лесу-те; по полям-ти, со стариком-ти*.

¹ Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. К вопросу о постпозитивных частицах в русских говорах // Материалы и исслед. по рус. диалектологии. Новая серия. – Т. 3. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 3-32.

² Селищев А.М. О языке современной деревни. Труды МИФЛИ. – Т. V. Сб. ст. по языковедению филологич. ф-та ИФЛИ. – М., 1939. – С. 100.

³ Селищев А.М. Критические заметки по истории русского языка // Уч. зап. Москов. гор. пед. ин-та. – Т. 1. – Вып. V. – М., 1941. – С. 185.

⁴ Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – Изд. 6. – М., 1938. – С. 68.

⁵ Шапиро А.Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров. – М., 1953. – С. 263-266.

Л. И. Балахонова

ДИАЛЕКТНЫЕ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ¹

Известно, что территориальные диалекты служили источником обогащения словарного состава общенародного языка в разные периоды его существования. <...> Среди диалектной по происхождению лексики указываются прежде всего различного рода экспрессивно-оценочные слова, бóльшая часть которых занимает периферийное положение в лексической системе современного русского языка. Называются также отдельные слова, характеризующие с разных сторон специфику крестьянской жизни. При этом в специальной литературе существует мнение, что независимо от того, какое место занимает областное по происхождению слово в стилистической системе современного литературного языка, вошло оно в литературный язык только через просторечие. Просторечие является той переходной ступенью, которая связывает и разделяет литературный язык и народные говоры². Опровергая подобное мнение, Ф.П.

Филин пишет: “Напрасно было бы полагать, что диалектные слова попадают в литературный язык только через просторечие или преимущественно через него. Пути их проникновения различны.... Многие слова, бывшие диалектными этнографизмами, диалектными географическими названиями и т.д., сразу стали нейтрально-литературными словами по мере их закрепления в лексической системе литературного языка в качестве терминологических и иных слов”³.

Предметом данной статьи является рассмотрение на материале “Опыта областного великорусского словаря” (СПб., 1852) и его “Дополнения” (СПб., 1858) как раз тех областных слов, которые входили в общенародный язык, начиная с середины XIX в., в качестве лексики, лишенной какой бы то ни было экспрессивно-оценочной окраски, и по самой своей природе, и по функционированию в общем языке не могли быть не только просторечными словами, но, судя по данным толковых словарей, никогда не входили даже в разряд разговорной лексики. Слова этого рода не использовались в литературных текстах для стилизации или создания речевой характеристики. Все сказанное относится прежде всего к различного рода терминам диалектного происхождения, как общенародным, так и узкоспециальным. <...>

Усвоение диалектных терминов общенародным языком в 30-40 годы XIX в. и позднее, когда складывалась терминология многих отраслей знаний, было вызвано объективной необходимостью – отсутствием в общенародном языке специальных слов для обозначения реалий, которые существовали на ограниченной территории России, но в это время приобрели важное общественное значение. Естественно, что обозначения для подобных реалий, которые можно было выразить в общенародном языке только описательно, заимствовались из разных русских говоров, где они издавна существовали. “Введение в литературный оборот новых просторечных и областных слов..., – пишет Ю.С. Сорокин, – пополняло запасы русской специальной терминологии, выделявшей различные новые стороны, характерные предметы и явления русской природы и быта, занятия различных социальных слоев и т.п., усиливало процесс семантической дифференциации, столь показательной для истории литературной лексики этого времени”⁴.

Известно, что отношение к диалектизмам и их роли в литературно-языковой традиции на протяжении XIX-XX вв. менялось под влиянием разных языковых и социальных факторов, находя своих сторонников и противников в различных общественных группах. Но независимо от общих тенденций в отношении к “крестьянскому языку, вкусов и творческих направлений писателей общая оценка заимствований из territori-

альных диалектов “недостающих в литературном языке слов”, могущих претендовать на общенациональную значимость, была, как правило, положительной. “Передовые писатели 30-60-х годов, – пишет В.В. Виноградов, – настойчиво развивают ту мысль, что литературно ценными являются лишь такие диалектизмы, которые имеют шансы стать национально-общими”⁵. Не случайно также ратовали за сознательное использование лексики русских народных говоров для пополнения недостающих в общерусском языке названий тех или иных реалий крупнейшие русские языковеды А.Х. Востоков, И.И. Срезневский, В.И. Даль, Ф.И. Буслаев, Я.К. Грот, А.А. Шахматов и др.

Так, например, Я.К. Грот писал: “Местные слова, удачно выражающие такие понятия, для которых недостает слов в языке письменности, могут быть пригодны для всеобщего употребления”⁶. Некоторые из языковедов, такие как А.Х. Востоков и В.И. Даль, рассматривали привлечение областных слов, не имевших общенародных соответствий, также как средство борьбы против иноязычных заимствований.

Отсутствие литературного эквивалента было одним из основных критериев отбора диалектизмов в толковые словари⁷. Вслед за “Словарем Академии российской” (1789-1794 г.) составители всех скольких-нибудь полных словарей XIX в. считали нужным помещать в них только те областные слова, “которые служат названиями для вещей, орудий и прочее, в столицах неизвестных, а также и те, которые приведут к обогащению и обилию языка или изяществом своим превосходят слова, в столицах употребляемые для названий тех же предметов”⁸. Некоторые из подобных местных слов, раньше или позже подвергшиеся литературной ассимиляции, впервые помещены действительно в толковых словарях Академии. Так, например, слова *балка* и *бахча* зафиксированы с пометой “областное” еще в “Словаре Академии российской” и оценивались как областные вплоть до Словаря Ушакова⁹, но в последних по времени толковых словарях признаются уже нейтральными словами общерусского употребления. В словаре 1847 г. также впервые в лексикографической традиции приводятся областные слова *гадюка*, *пурга*, *тайга* и др., пополнившие запасы русской специальной терминологии. Естественно, составители толковых словарей Академии не могли предугадать судьбу каждого из областных слов, помещенных в этих словарях. Многие из диалектизмов, рассматриваемых создателями академических словарей как потенциальный резерв общенародного языка, так и остались областными. Более того, некоторые термины областного происхождения, канонизированные академическими словарями XVIII-XIX вв., позднее были вытеснены другими, также диалектными словами, более удачно выра-

жающими понятие. Значительно большее число диалектизмов, ставших позднее элементами общерусской лексической системы, было неизвестно составителям общенародных словарей и впервые в лексикографической традиции встретилось в тех или иных специальных записях областных слов. Многие из таких слов зафиксированы именно в Областном словаре. Сличение “Опыта” и его “Дополнения” со словарями современного русского языка показало, что из сорока тысяч слов, помещенных в Областном словаре, более тысячи слов вошло в словарный состав общенародного языка, что, конечно, далеко не исчерпывает того количества лексики, которым русские народные говоры обогатили современный литературный язык.

По их функционированию и месту в стилистической системе современного русского языка это прежде всего слова, пополнившие разговорно-просторечные пласты общенародного языка в качестве экспрессивно-оценочных средств, в том числе стилистически сниженных синонимов слов, выполняющих номинативную функцию (сюда относятся такие, например, слова, как *ахнуть* ‘сильно ударить’, *балаболка*, *влопаться*, *выкрутасы*, *грымза*, *ерепениться*, *завидуций*, *опохмелка*, *тары-бары*, *эхма* и др.).

Значительную группу составляют такие слова с конкретно-предметными значениями, которые, усваиваясь общим языком, постепенно нейтрализовались совершенно или “почти” и стали употребляться без стилистических ограничений в любом контексте (это слова: *доскональный*, *кошелка*, *листва*, *обочина*, *окунуться*, *подряд*, *рыбалка*, *сослепа*, *ушанка*, *учеба* и др.). Есть среди этой группы слов отдельные терминологические обозначения, однако рассмотрение их не входит в задачу данной статьи, так как нейтрализация их в общенародном языке протекала постепенно, проходя через несколько ступеней стилистической дифференциации.

И, наконец, немалое количество областных слов, помещенных в “Опыте” и “Дополнении”, потеряв локальную окраску, вошло в состав общерусской терминологической лексики как принятые названия тех или иных понятий или реалий. Эти диалектные термины разнообразны по своему семантическому содержанию, и хотя большая их часть обозначает реалии различной географической локализации, однако есть среди них названия, характеризующие различные стороны жизни человека и природы, независимо от специфики местных условий. Можно выделить несколько тематических групп, объединяющих эти терминологические названия:

а) названия предметов и явлений природы: *затон, паводок, поземка, пурга, припай, тайга* и др.;

б) названия животных и сортов растений: *кубанка* (сорт пшеницы), *ряска, подберезовик, сухостой* и др.;

в) названия животных, птиц, рыб: *битюг, вобла, лайка, пыжьян, солонгой, турман, частик, чоглок* и др.;

г) названия различных видов сельскохозяйственных и иных работ и профессий, связанных с местными условиями жизни, земельных участков, орудий, инструментов и т.п.: *каюр, ночное, окучивать, путина, тьяка, продольник* (рыболовная снасть), *шпенек* и др.;

д) названия одежды, обуви: *доха, пимы, совик, торбасы, унты* и др.;

е) названия еды (некоторые названия видов баранок, печенья): *бублик, сушки, хворост*.

Есть и некоторые другие, немногочисленные семантические группы слов. Большая часть этих слов образована от общерусских или даже общеславянских основ (например, *вобла*), по приведенные выше примеры показывают, что через посредство говоров в общий язык входят также различные иноязычные заимствования, в основном из северных и восточных языков (такие, как *доха, каюр, совик, пимы* и др.). Так, существительное *чесуча* (китайская ткань) получает распространение первоначально только на Дальнем Востоке, но по мере “узнавания” реалии на территории всей России оно входит в общее употребление как слово с нулевой стилистической характеристикой. Любопытно, что в общенародном языке долгое время существуют несколько фонетических вариантов этого слова: *чесуча – чесунча – чечунча*, но побеждает форма, в которой впервые приведено слово в “Дополнении” 1858 г.: **Чесуча**. Китайская грубая шелковая материя.

Точно так же, например, слово *инжир* (имевшее в общенародном языке эквиваленты *смоква – смоковница – винная ягода – фига*) получает распространение сначала на юге России, а потом усваивается общерусским языком. В “Опыте” приведено как слово, записанное в Курской губ.: **Инжир**. Винная ягода.

В отдельных случаях этимология терминов указывает на конкретное место, где возникла данная реалия. Слово *битюг*, например, связано с названием речки и города в Воронежской губ. Так же прозрачна этимология существительного *кубанка*.

Не все рассматриваемые диалектные термины вошли в общенародный язык одновременно. Подавляющее большинство этих слов не встречается или встречается очень редко в литературных текстах первой половины XIX в. Широкое употребление в письменных источниках и дан-

ные словарей свидетельствуют, что такие слова, как *битюг*, *выводок*, *паводок* и др., закрепляются в общенародной лексической системе уже в середине XIX в. С другой стороны, немалое количество терминологических названий, из числа помещенных в Областном словаре, теряет локальную окраску только на рубеже XIX-XX вв. и позже. Современные толковые словари, отражающие состояние русской лексической системы советского периода, свидетельствуют, что некоторые общенародные слова еще в 20-30 годы считались узколокальными и сопровождалась в Словаре Ушакова пометой “обл.” или вовсе отсутствовали в нем. Так, совсем недавно в общенародном употреблении стало известно слово *накомарник* (впервые в “Опыте” с пометой “тобольское”, у Даля – с пометой “пермское”); слова еще нет в Словаре Ушакова, но оно включено во все последующие словари, в том числе и в однотомный Словарь Ожегова¹⁰, без всяких стилистических помет. В литературных текстах оно появляется на рубеже XIX-XX вв. в произведениях, посвященных в основном описанию Сибири и Дальнего Востока. С пометой “обл.” в Словаре Ушакова приведены также слова *бублик*, *кубанка*, *малек*, *инжир*, *марево* (в значении ‘дымка’, ‘туман’), *соколок* (инструмент) и м. др., вошедшие в последующие словари как слова общенародные.

Несмотря на возможные ошибки Словаря Ушакова в отнесении тех или иных слов к разряду областных, многочисленность таких фактов говорит о том, что в данном случае словари отражали действительное движение областной лексики в последние 20-30 лет XX в. в общенародный словарный состав¹¹.

Все это опровергает утверждение некоторых исследователей о том, что территориальные диалекты уже в конце XIX в. перестают быть источником пополнения лексики литературного языка.

По своим понятийным и лексико-грамматическим отношениям к существующим в середине XIX в. общераспространенным словам рассматриваемые диалектизмы представляют собой несколько разновидностей.

Во-первых, это диалектные слова, которые не имели в общенародном языке синонимических соответствий: *бахча*, *выводок*, *настил*, *поземка*, *прогиб*, *шпенек*, *ядрица* и т.п.

Во-вторых, диалектные слова, отличающиеся от соответствующих общерусских слов своими значениями, т.е. так называемые “семантические диалектизмы” (Ф.П. Филин): в говоре – *лайка* ‘определенная порода собак’, в литературном языке – *лайка* ‘собака, которая много лает’; в говоре – *лямка* ‘полоска материи, поддерживающая одежду’, в литературном языке – *лямка* – ‘толстый ремень для тяги или носки тяжести’, и т.д.

В-третьих, диалектные слова, выражающие более узкое, частное понятие по сравнению со словами литературного языка, выражающими общее понятие: в говоре – *помор* ‘житель побережья Белого моря’, в общенародном языке – *поморец, поморянин* ‘житель побережья вообще’; в говорах – *малек* ‘только что или недавно вышедшая из икры рыбка’, в литературном языке – *малявка* ‘маленькая рыбка вообще’, и т.д.

В-четвертых, диалектные слова, имевшие в середине XIX в. общенародные синонимические соответствия: диалектное слово *коренник* соответствовало общенародным словам *коренная лошадь, коренной или коренная и коренняк*; диалектное слово *подберезовик* имело в общенародном языке параллельное образование *березовик*, диалектное слово *солонец* соответствовало литературному слову *солончак*, и т.д.

И, наконец, в-пятых, диалектные слова, которые пополняли словопроизводительные гнезда общенародных или уже ставших к тому времени общенародными слов: *пеклеванье, пеклевка, пеклевать* при зафиксированных Словарем 1847 г. *пеклеванка* и *пеклеванный*; *ежевичник* – при существующих в это время в общерусском языке *ежевика, ежевичный*, и т.д. <...>

¹ Балахонова Л.И. Диалектные по происхождению слова в современном литературном языке // Слово в рус. народ. говорах. – Л.: Наука, 1968. – С. 18-36.

² Гецова О.Г. О характере областного (диалектного) словаря // Филолог. науки. – Вып. III. – 1964. – С. 96-105.

³ Филин Ф.П. Некоторые проблемы диалектной лексикографии // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. – Т. XXV. – Вып. 1. – 1966. – С. 3-12.

⁴ Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90 годы XIX века. – М.-Л. – 1965. – С. 495.

⁵ Виноградов В.В. Основные этапы истории русского языка // Русский язык в школе. – № 5. – 1940. – С. 5.

⁶ Грот Я.К. Филологические разыскания. – Т. 1. – СПб. – 1876. – С. 21-22.

⁷ Федоров А.И. О принципах отбора областных слов в толковых словарях современного русского языка // Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им А.И. Герцена. – Т. 248. – 1963. – С. 173-184.

⁸ Сухомлинов М.И. История Академии российской. – Вып. V. СПб. – 1895. – С. 285-286.

⁹ Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. – М. – 1934-1940.

¹⁰ Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 4. – М., 1961.

¹¹ Римашевская К.П. Роль народно-диалектной лексики в становлении научной терминологии (на материале лексики леса Шушенского района Красноярского края) // Матер. и исслед. по сибир. диалектологии. – Красноярск. – 1965. – С. 5-28.

И. А. Оссовецкий

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ¹

Введение

<...> Диалектный язык, объединяющий лексические моносистемы отдельных говоров, представляет собой качественно новое образование, чем отдельный говор, а именно, теоретически конструируемую абстракцию, которая существует именно как язык и которая полностью никогда не реализуется в речи, потому что реально диалектным языком во всем его объеме как единой системой в коммуникативной функции не пользуется никто.

Диалектный язык можно себе представить как систему соответствий на разных языковых уровнях, члены этих соответствий взаимно замещают друг друга в частных диалектных системах.

Манифестация языковых категорий в частной диалектной системе в принципе одновариантна, единична; манифестация этих же категорий в диалектном языке многовариантна, множественна. Диалектный язык — это полисистема, надстраиваемая над всеми частными системами, исключая литературный эталон. По своему значению диалектный язык — это “вторая по значимости (после литературного языка) форма национального языка”². От любой частной системы, включая и литературный язык, диалектный язык отличается тем, что все его категории имеют территориальный аспект, который отсутствует у любой частной системы. Диалектный язык как полисистема обладает своими собственными специфическими категориями; одной из таких категорий является категория диалектного различия, представляющая собой структурный вариант диалектного языка как специфической системы³. <...>

Структура диалектного языка очень сложна, она не сводима к некоей сумме частных диалектных систем русского языка и не является их непосредственным обобщением, потому что кроме этих частных систем ее конструируют и региональные объединения говоров с разной степенью единообразия наборов диалектных фактов. Такие объединения говоров, надстраиваемые над конкретными частными диалектными системами, могут иметь разный ареал, начиная от наречий (северного и южного) и кончая многочисленными группами говоров. Эти объединения, сформированные комплексами определенных диалектных фактов, в свою очередь образуют наддиалектные системы, которые тоже не являются ре-

альным конкретным языком, однако с меньшей степенью абстракции, чем весь диалектный русский язык в целом. Намечаемые в отдельных исследованиях контуры языковых образований, квалифицируемые авторами как диалектный язык, на самом деле таковыми не являются, а представляют собой всего лишь фрагменты общенародного языка, моделируемого на базе только части говоров. Моделирование диалектного языка в целом мыслимо лишь теоретически, практически же оно недостижимо, потому что для этой цели необходимо было бы располагать материалом всех частных диалектных систем.

Многовариантность диалектного языка дает основание некоторым исследователям говорить о нефункциональном многообразии языковых единиц за пределами литературного языка, без разграничения частных диалектных систем и диалектного языка. При сопоставлении “литературный язык”//“диалектный язык” действительно наблюдается семантико-стилистическое различие в статусе вариантных языковых единиц в обоих этих языковых континуумах; при сопоставлении “литературный язык”//“частная диалектная система” такого различия нет, так как в принципе каждый говор как реальная конкретная система стремится к преодолению функционального многообразия, как и литературный язык. Различия между говорами и литературным языком в реализации этой тенденции не имеют принципиального характера, так как определяются экстралингвистическими причинами и, в частности, различием в социальном статусе этих частных языковых систем.

Требует известного уточнения в определенных отношениях также понятие современного языка в применении к диалекту и к литературному языку, поскольку характерное для любой современной языковой системы сочетание элементов синхронии и диахронии получает в них достаточно своеобразное выражение.

Синхронная система современного русского литературного языка есть не только результат имманентного его развития на протяжении всей его истории, но и, с определенного этапа, результат сознательно контролируемой языковой деятельности коллектива людей, говорящих на нем. В связи с этим литературный язык создается не только в процессе саморазвития, но и в процессе сознательного его обогащения и шлифовки. Система литературного языка является точкой приложения сознательных языковых усилий определенного коллектива людей на протяжении длительного времени и поэтому она относительно малоподвижна и более или менее одинакова в пределах времени, охватывающего жизнь двух-трех поколений.

В лексической системе говора процессы имманентного развития, особенно на более ранних этапах исторического существования диалектов, протекают более свободно, кроме того, лексическая система говора более динамична, чем лексическая система литературного языка, в связи с тем, что она непрерывно подвергается воздействию соседних говоров и, что самое главное, воздействию литературного языка, причем наиболее проницаемыми оказываются те ее единицы, которые по сравнению с соответствующими единицами литературного языка в большей степени, чем другие, обладают диалектной спецификой. Результаты изменения того или иного говора под воздействием литературного языка трудно отделить от результатов имманентного развития, эти две действующие силы объединяются, взаимно усиливая друг друга. Под влиянием этих факторов, а также других, менее значительных, процесс развития и изменения говора убыстряется не только по сравнению с литературным языком, но и по сравнению с прошлым состоянием говора, когда в силу экономической замкнутости и разобщенности влияние литературного было минимальным. В результате этих процессов история развития говора как бы сжимается, конденсируется, и тот исторический период развития, который для литературного языка по длительности равен жизни двух-трех поколений “укладывается” в диалекте в период, равный жизни одного поколения. Синхронный срез любой разновидности диалектного языка содержит в себе одновременно и элементы диахронии, он “трехмерен”, причем насыщенность элементами диахронии в нем значительно бóльшая, чем в литературном языке. Например, в современном литературном языке *ё* и *е* под ударением не различаются в речи представителей всех поколений, а в пределах одного современного говора можно встретить одновременно особое произношение *ё* под ударением или во всех позициях, или только перед мягкими согласными, или в отдельных словах. Точно так же по говорам прослеживаются едва ли не все исторические стадии отхода от исконного типа цоканья: твердое цоканье, чоканье, различие твердых *ч* и *ц*, мягкое *ч'* и твердое *ц*, причем их можно встретить иногда в пределах одного говора не только в произношении лиц разного возраста и разного образовательного ценза, но некоторые из них совмещаются полностью или частично в произношении одного и того же лица.

Колебания системы говора, обусловленные процессом исторического развития, имеют по сравнению с литературным языком значительно бóльшую амплитуду. Поэтому исследователь современного говора, в частности, его лексической системы, постоянно сталкивается с языковыми фактами, генетическими принадлежащими к разным синхронным пластам, но пока сосуществующим на данном этапе исторического его раз-

вития. В известной мере современный словарь диалекта соответствует словарю современного литературного языка и историческому словарю, взятым вместе. Такая бóльшая историчность диалектной лексики по сравнению с лексикой литературного языка составляют одну из особенностей первой. Однако поскольку современная диалектная лексика – это лексика устной речи, постольку она отражает только такую историю, которая хранится в памяти одного поколения, сохраняется только в устной традиции, “неглубокая” по сравнению с языком, имеющим письменность. Бóльшая сложность структуры лексической системы говора с исторической точки зрения может служить также ее различительным признаком в целом по сравнению с литературным языком. Следует также иметь в виду, что семантическая структура диалектного слова сформировалась под воздействием многочисленных факторов, из которых некоторые специфичны только для говора, но не для литературного языка. Одним из них является фактор территории, который органически входит в само понятие говора, но почти не существен для литературного языка.

При сопоставлении диалектного языка с литературным языком или же отдельного говора с тем же литературным языком необходимо иметь в виду, что последний имеет две реализации – письменную и устную. Диалектный язык и отдельные говоры значительно ближе по своим характеристикам именно к устной форме кодифицированного литературного языка. <...> При сопоставлении диалектного лексического материала с лексикой устно-разговорной реализации литературного языка расхождение сопоставляемых объектов будет меньшим, чем при сопоставлении этого же материала с письменным литературным языком. Сопоставление диалектной лексики с лексикой литературного языка – это один из путей более глубокого познания не только диалектной, но также и литературной лексики. <...>

Лексика любого языка или диалекта представляет собой незамкнутую систему с несчислимым количеством единиц, потому что каждая такая система обладает неограниченными потенциальными возможностями образования новых единиц, причем кодифицированная граница между узуальными окказиональными единицами очень условна и динамична. Относительно бóльшая подвижность лексической системы по сравнению с системой фонологической или морфологической в значительной степени объясняется тем, что минимальные различия между отдельными единицами той или иной системы семантически наиболее релевантны именно в лексике, где каждое такое различие по существу формирует не вариант, а новую единицу. Семантическая нагруженность языковых микрофактов стремительно возрастает по уровням в направлении от фонетики

к лексике. <...> “Фонетические и грамматические средства языка ограничены в количественном отношении и строго систематизированы; в значительной степени, хотя и не полностью, они не подвержены внешним влияниям. Словарь же представляет расплывчатую массу бесконечно большого числа элементов; границы его зыбки и трудно определяемы; характернейшим свойством словаря является его способность бесконечно разрастаться за счет новых слов и значений, которые поступают из самых различных источников”⁴. <...>

<...> Конкретные процессы изменения и развития диалектной лексики осуществляются именно в пределах замкнутых лексических моносистем, представляющих собой говоры каких-либо определенных населенных пунктов (деревень, сел) или же некоторых территориально близких населенных пунктов, население которых пользуется одним и тем же говором. “Русский диалектный язык в его пространственной проекции представляет сложное единство в многообразии. На любой территориальной точке он обладает своей системой”⁵. Реальность лексического материала, собранного в отдельных территориальных точках, обусловлена прежде всего тем, что в процессе коммуникации каждый носитель данного говора пользуется всеми его звеньями во всем их объеме. Системность лексики одного говора в известной степени определяется тем, что в ней нет семантически взаимоисключающих друг друга лексических единиц; вариативность диалектных единиц не сопровождается территориальной характеристикой⁶. Вариантные лексические звенья моносистемы не абсолютно идентичны, а характеризуются известными, а иногда и минимальными различиями. Которые могут реализоваться как в плане содержания, так и в плане выражения.

Частная лексическая моносистема одного говора в одной части своих звеньев налагается на соответствующую часть звеньев других моносистем, совмещаясь с ними, а в другой части противопоставляется им и вся в целом имеет идиоматичный набор всех составляющих ее лексических единиц. При сопоставлении же друг с другом лексических систем нескольких говоров выявляются варианты звенья полисистемы, имеющие также и пространственную характеристику. Такие варианты лексические звенья полисистемы выявляют диалектные лексические различия русского языка, которые образуют соответственные явления в составе двух и более моносистем. Члены соответственного явления могут быть неодинакового объема, структуры и качества в разных сопоставляемых между собой говорах, а также между каким-либо говором и литературным языком. Комплексом своих различительных признаков, сочетающихся с общими элементами, свойственными всем говорам рус-

ского языка, лексическая моносистема отдельного говора противостоит как нечто целостное и качественно своеобразное лексическим моносистемам других говоров, а также и литературному языку, во многом совпадая с ним, но не сливаясь во всем объеме, и, так как каждая диалектная моносистема обязательно обладает и территориальной характеристикой, то можно утверждать, что такая система определяется также и экстралингвистически.

Таким образом, лексику отдельного говора можно рассматривать как единое структурное целое, все компоненты которого связаны системными отношениями; характер этого объединения позволяет лексику одного говора в целом противопоставлять лексике другого или других говоров, тоже взятых как целое.

Территория распространения одного говора не представляет собой какой-либо постоянной величины. Данный говор может быть распространен только в одном населенном пункте, но может охватывать несколько пунктов, расположенных на довольно значительном пространстве. Иногда данный говор, который в системном отношении можно считать единым, резко отличается от соседних, а иногда языковую границу между двумя говорами провести довольно трудно. Если данный говор распространен во многих соседствующих между собой населенных пунктах, то его можно считать в известном смысле типичным для целой диалектной зоны. <...>

Глава I

Общая характеристика диалектной лексики

<...> И говор, и литературный язык представляют собой генетически единые и аналогичным образом организованные моносистемы, в которых реализуется процесс развития одного и того же исконного для них лексического фонда. Тенденции развития в этих моносистемах тоже примерно одинаковы, хотя возможности их реализации различны, что и приводит к частичной неодинаковости конечных результатов.

В процессе развертывания и обогащения в литературном языке и в говорах исконного лексического фонда происходят многочисленные потери и приобретения, в результате которых и формируются частные лексические системы, каждая со своей спецификой. Большую роль в формировании лексических систем говоров играет территориальный фактор. В отдельных лексических системах имеются такие единицы, ареал которых иногда совпадает только с ареалом данного говора; за пределами этого говора данные лексемы неизвестны, это могут быть как и новообразова-

ния, так и древние архаизмы, утраченные другими говорами. Однако в пределах каждого говора такая лексика и лексика общенародная одинаково нормативны⁷ и одинаково стилистически маркированы. Разграничение этих типов лексики не “объективно существующий и очень важный факт”⁸, а научная абстракция, применяемая для целей исследования.

Постулируя исконную общность лексического фонда говоров и литературного языка, необходимо вместе с тем учитывать и специфику лексикологической проблематики изучения каждой системы, определяемую спецификой изучаемого материала. Лексика русского литературного языка – это моносистема, вариативность которой не сопровождается территориальной характеристикой, лексика же частной системы представляет собой звено диалектного языка, в пределах которого лексические единицы говора образуют варианты лексических единиц других говоров в пределах ареала данного диалектного слова.

Различия в исторических условиях развития и современного существования русского литературного языка и русских народных говоров определили специфические качества последних как коммуникативных систем; эти качества в очень большой степени обусловлены тем, что современные русские народные говоры существуют исключительно в бесписьменной форме. Отсутствие письменности в современных русских народных говорах, наряду с их подчиненным положением по отношению к литературному языку, представляется одним из важнейших условий бытования и развития их лексики.

Устная форма бытования накладывает особый отпечаток на язык даже при наличии письменной его формы; если же устная форма является единственной формой бытования языка, то такие условия его существования в очень большой степени формируют специфические черты данной языковой системы. <...>

Непринужденность протекания разговорной литературной речи способствует активизации в ней определенных фонетических процессов, в частности своеобразного фонематического опрощения, характерного для быстрого и неподготовленного говорения. Аналогичные факты широко распространены и в диалектной речи.

Устная форма представляет собой единственную и самодовлеющую форму реализации русской диалектной речи, ей не противостоит письменная форма, как в литературном языке, в свою очередь накладывающая известный отпечаток на его разговорную форму. Поэтому можно утверждать, что, несмотря на большое типологическое сходство, разговорная речь и диалект не являются идентичными по своим основным структурным характеристикам. Каждый говор как бы сочетает в себе разго-

ворную непринужденность и относительную кодифицированность высказывания, это и определяет собой различия между разговорной формой литературного языка и говором. <...>

Разговорная литературная речь различается с диалектной речью также и на лексическом уровне, в частности приемами номинации. <...>

Устная форма бытования современных русских говоров представляет собой одно из важнейших условий сохранения в них комплекса диалектных различительных признаков как относительно исконных, так и инноваций. Эти различия на уровне лексики реализуются не только в неодинаковости фонда слов того или иного говора и литературного языка, образующих их лексические системы, но также в качественной и количественной неодинаковости фонда регулярных словоизменительных и словообразовательных моделей и моделей словосочетаний; среди всех этих моделей есть и много общих с литературным языком, как это наблюдается и в отношении многих отдельных слов. <...>

В письменной речи, независимо от того, является ли она синхронной письменной формой языка или же отражает язык прошлого, слово как лексическая единица имеет относительно четкие семантические границы, оно употреблено семантически более точно, чем в устной речи; каждое написанное слово представляет собой результат отбора, оно является как бы победителем конкурса синонимов, претендующих на более адекватное выражение того, что хочет сказать автор. <...>

Устная диалектная речь в связи со спонтанным ее характером имеет меньшую степень избирательности форм выражения, чем письменная форма языка, однако это не значит, что ее фонд синонимических средств беднее. Выбор этих средств тоже очень велик⁹, но этот выбор отчасти случаен.

Большое влияние на выбор лексики в устной диалектной речи оказывает синтаксическая организация последней, характеризующаяся неподготовленностью, ассоциативным характером соположения частей, ситуативной обусловленностью и мн. др.

Несомненно, что и в устной речи происходит отбор языковых средств говорящим, первичное редактирование высказывания, однако такой отбор здесь менее тщателен, чем в письменной речи, изобилует бóльшим количеством разовых единичных употреблений, а также многими окказиональными языковыми фактами.

В устной речи как литературной, так и особенно диалектной, слово часто употреблено неточно в смысловом отношении, в ней возможны всевозможные отклонения и нарушения норм. Особенно это характерно для реплик, типичных для устной диалектной речи. <...>

В устной речи отсутствует зрительный образ слова, который наглядно отражает этимологические связи слова. Поэтому в устной речи может появиться тенденция к разрыву этимологических связей между производящим и производными словами, которая сначала реализуется в изменении фонемного состава слова, а затем может реализоваться и в разрыве семантических связей. Однако необходимо тут же подчеркнуть, что деформация звукового вида слова если и может послужить толчком к деэтимологизации, то во всяком случае не является единственной и главной причиной этого процесса, причины которого не выяснены.

В южнорусских говорах фонологической деформации слова может способствовать сильная редукция безударных гласных. Ср. такие примеры из говора д. Деулино как *бóзнять* (-кто, -где, каdá) <* бог знает (-кто, -где, каdá), *поплíще* <* пепелище, *просúк* <* поросúк и под. Забвение внутренней формы слова может привести к дальнейшему изменению фонемного состава слова, уже с вовлечением в этот процесс согласных; семантические связи еще могут сохраняться, однако движение в сторону деэтимологизации уже наметилось. Ср. такие примеры из говора д. Деулино как *ломшáк* <* лоньшак 'жеребенок, которому пошел второй год', *косíмка* 'косынка', *санопрýха* 'самопрялка', *ставарáнный* 'тот, кто рано встает' и под.

Исследователь диалектной лексики познает ее в индивидуальной интерпретации каждого носителя говора, от которого записывался материал, письменная же форма литературного языка предоставляет в распоряжение исследователя значительно более упорядоченный лексический материал. Все это определяет специфические условия познания говора и, в частности, его лексики, которые усложняют отделение в диалектном лексическом материале закономерного и регулярного от случайного, общеупотребительного от единичного, нормативного в широком смысле слова от стоящего вне нормы, кодифицированного от некодифицированного. Существенным образом меняются соотношения и взаимосвязь между значением и употреблением слова. <...>

¹ И.А.Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров. – М.: Наука, 1982. – 198 с.

² Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию. – Томск, 1973. – С. 11.

³ Аванесов Р.И. О двух аспектах предмета диалектологии // Общеславян. лингвист. атлас (материалы и исследования). – М., 1965. – С. 26.

⁴ Ульман Ст. Дескриптивная семантика и лингвистическая типология. – Новое в лингвистике. – Вып. 2. – М., 1962, – С. 18.

⁵ Вопросы теории лингвистической географии / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1962. – С. 9.

⁶ Калнынь Л. К вопросу о системной интерпретации говора как единицы диалектного дробления // Исслед. по славян. языкознанию. – М., 1971. – С. 345.

⁷ Филин Ф.П. О составлении диалектологических словарей славянских языков // Славян. языкознание. V Международ. съезд славистов. М., 1963. – С. 329.

⁸ Баранникова Л.И. Русские народные говоры в советский период. – Саратов, 1967. – С. 81.

⁹ Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию. – Томск, 1973. – С. 165 – 166.

Ф. П. Сороколетов

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К СЛОВАРНОМУ СОСТАВУ ОБЩЕНАРОДНОГО ЯЗЫКА¹

<...> В русской диалектологии выработана в настоящее время более или менее единая точка зрения относительно понимания категории “диалектное слово”. Она может быть сведена к следующему: диалектное слово – это слово, имеющее распространение только на части территории русского языка, и в этом отношении оно становится в один ряд с диалектными фонетическими, морфологическими и синтаксическими явлениями. Диалектные явления объединяются также и тем, что все они чужды нормативному литературному языку. Следовательно, диалектное слово определяется, во-первых, на основании установления территории его распространения – его географического ареала, очерченного изоглоссой, и, во-вторых, – его отношением к общенародному литературному языку. С этих же позиций выделяются и так называемые семантические диалектизмы – слова, отличающиеся от соответствующих общенародных слов своими значениями, – а также и иные аспекты диалектологии. Такое понимание диалектизмов <...> принимается большинством современных диалектологов. Так, например, обращаясь к характеристике лексических различий диалектной речи, авторы “Русской диалектологии” пишут: “В состав диалектного языка входит лексика, по-разному характеризующая его структуру: одна часть этой лексики – общая для всего диалектного языка, другая составляет различия между говорами. По отношению к литературному языку, с одной стороны, и по признаку охвата территории русского языка, с другой, лексику диалектного языка можно разделить на три группы: 1) собственно диалектная лексика, т.е. лексика, имеющая ограниченную территорию употребления и не входящая в словарный состав литературного языка; 2) лексика, имеющая в говорах ограниченную территорию употребления, но входящая также и в словарный состав ли-

тературного языка; 3) лексика, не имеющая территориальных ограничений в употреблении и являющаяся в этом смысле общенародной, но нейтральная в отношении литературного языка”². Такая классификация лексики народных говоров в зависимости от территории распространения и по отношению к литературному словарю представляется вполне правильной и приемлемой. С этой точки зрения третья группа лексики представляет собой общенародный фонд и к категории диалектизмов отнесена быть не может. Сложнее обстоит дело со второй группой лексики – со словами, известными литературному языку, но в говорах имеющими свою изоглоссу. Можно ли их с такой же категоричностью относить к диалектизмам, как и слова первой группы лексики? Думается, что для этого нет достаточно веских оснований, особенно если говорить о современном состоянии диалектной лексики. Более приемлемой представляется точка зрения Ф.П. Филина, высказанная им в “Проекте Словаря русских народных говоров” (М. – Л., 1961), согласно которой слова второй группы не могут быть признаны диалектными. Если рассматривать слова второй группы только в системе диалектной лексики, забывая о существовании общенародного литературного языка, т.е. если лишь противопоставлять лексику одного диалекта другому и этим ограничиваться, то можно, конечно, прийти к выводу о том, что слова типа *пахать* (пашню), *боронить*, *лаять*, *изба*, *чердак*, *ковш*, *очень* и т.п. являются диалектизмами, так как они не будут иметь повсеместного распространения в диалектной речи и будут иметь свои изоглоссы. Однако если признать диалекты ответвлениями от общенародного языка (а именно такое понимание и нужно вкладывать в понятие “диалекты”), станет очевидным, что из сравнения одного диалекта с другим нельзя полностью и правильно определить состав и характер диалектных явлений, в том числе и лексических явлений. Чтобы определение диалектизма было полным, совершенно необходимо сравнение явлений диалектных с соответствующими явлениями литературного языка, общенародной языковой системы. Слова второй группы нельзя отнести к диалектизмам и потому, что в наше время нельзя с достоверностью утверждать, что слово литературного языка, имеющее в диалектах изоглоссу, совершенно чуждо носителям того или иного диалекта, что оно не входит в их языковую систему. Отсутствие слова в диалектологических записях, которые большей частью делаются собирателями во время кратковременных экспедиций или местными любителями народной речи, не может служить достаточно веским доказательством отсутствия слова в том или ином говоре. Надо учитывать также и то, что на прямо поставленный вопрос: известно ли данное слово? – носитель диалекта может ответить утвердительно (что и

бывает в действительности). Однако вряд ли это будет достаточным основанием для того, чтобы утверждать, что данное слово литературного языка действительно входит в лексическую систему диалекта как равноправный ее член. Чтобы решить подобный вопрос, необходимо не разовое (или эпизодически повторяемое) обследование говора, а постоянное, в течение длительного времени наблюдение за речью носителей того или иного диалекта (чего в практике диалектологических экспедиций почти никогда не бывает или бывает в редких, особенно благоприятных случаях).

Исключения из понятия “диалектизм” общенародных слов, распространенных в диалектной речи, вовсе не обозначает того, что эти слова совершенно не должны интересовать исследователя лексики народных говоров. Если лексический состав диалекта изучается как определенная лексическая система, то общенародные слова и диалектизмы должны вовлекаться в исследование на равных правах, так как “с точки зрения носителей говора диалектизм не существует”³. Если же изучать диалектную лексику в ее отношении к лексике литературного языка, то обязательно разграничение двух различных категорий слов – имеющих повсеместное употребление и диалектных.

Очень важно разграничение диалектных и общенародных слов с точки зрения лексикографической обработки диалектной лексики. Выяснение того, что понимается под термином “диалектное слово” в лексикографии, имеет не только теоретический интерес, но и приобретает важное практическое значение.

Вопрос вопросов диалектной лексикографии – каким должен быть диалектный словарь? – непосредственным образом связан с этой проблемой. Тип словаря народных говоров в свое время вызывал горячие споры и дискуссии, в ходе которых было высказано немало различных точек зрения. Эти споры продолжаются и сейчас, когда сама жизнь внесла в них свои решающие коррективы.

Довольно отчетливо определилось два противоборствующих лагеря; в одном оказались сторонники полных (“системных”) диалектных словарей, включающих в свой состав всю зарегистрированную в диалектах лексику независимо от того, какое место занимают ее различные элементы в словарном составе общенародного языка. Естественно, что в этом случае вопрос о том, является то или иное слово диалектизмом или нет, снимается: в Словарь должно быть включено все, что записано, зарегистрировано в диалекте. Наиболее решительно эта точка зрения проявилась в статьях Б.А. Ларина и его учеников. Сторонники этой точки зрения обвиняли и обвиняют своих противников, в частности, в том, что по-

следние якобы полностью отрицают возможность и надобность полных диалектных словарей. Но эти обвинения основываются на заблуждении.

Ф.П. Филин, выдвигая и обосновывая идею дифференциального сводного словаря русских народных говоров как единственно правильную и с теоретической, и с практической точки зрения, никогда не говорил, что это требование обязательно в отношении диалектных словарей любого рода. Наоборот, он всегда подчеркивал огромную важность и научную значимость полного словаря диалекта, но замечал при этом, что тогда речь должна идти об одном диалекте (говоре), представляющем собой единую языковую систему. <...> Создание полного словаря одного говора чрезвычайно затруднительно не по теоретическим, а по практическим соображениям. Общеизвестным является тот факт, что еще никому не удалось сколько-нибудь полно зарегистрировать всю совокупность лексики того или иного диалекта (причем незарегистрированными остаются не только периферийные элементы лексики, хотя и они не могут быть исключены из системы без ущерба для правильной характеристики последней, а ее основные части). Кроме того, в наше время, время огромного влияния на диалекты литературного языка, не только трудно, но нередко просто невозможно определить, входит то или иное слово литературного языка в состав диалектной системы или нет (носители современных говоров имеют разный культурный уровень, неодинаково владеют литературным языком). В сущности, чтобы составить полный словарь, нужно исчерпывающе записать лексику не многих носителей говора, а лексику отдельного носителя говора. Кроме того, сведения, собранные различными наблюдателями, при составлении полного словаря не могут использоваться на равных основаниях, так как каждый из собирателей неизбежно по-своему подойдет к сбору лексического материала. Для “системного” же словаря факты должны быть строго однородными.

Как писал в свое время А. Мейе, “говоры вовсе не обладают тем единством, которое им было приписано а priori. Жители одной и той же, пусть маленькой, деревни говорят по-разному в зависимости от возраста, профессии, социального положения и пр. Не все являются местными уроженцами, не все могут с одинаковой верностью сохранять местные особенности речи. Если описание местного говора учитывает все эти индивидуальные различия, оно становится слишком сложным и из него трудно извлечь какую-либо пользу для сравнения. Если же эти подробности не учитываются, мы не получаем правильного представления о состоянии говора: многие факты произвольно упрощаются и скорее называются, чем описываются”⁴.

В качестве аргумента для защиты идеи обязательного включения в диалектный словарь всей лексики, употребляющейся в народных говорах, выдвигается положение о том, что каждое слово в говоре непременно чем-то отличается от этого же слова в литературном языке.

Так, И.А. Оссовецкий, говоря о том, что “каждое слово как в пределах лексики одного говора, так и в пределах лексики литературного языка <...> семантически индивидуально в том смысле, что оно объективно представляет собой сложное и в части своих компонентов неповторимое семантическое целое”⁵, утверждает: “... чем точнее фиксируются значения слов в говоре, тем с большей отчетливостью проступает дифференцированность всего диалектного лексического материала по отношению к литературному языку”⁶. <...>

Если любое слово, употребляемое носителями говоров, действительно представляет собой неповторимое явление и всегда отличается теми или иными особенностями от тождественно звучащего слова литературного языка, тогда идея дифференциального диалектного словаря является несостоятельной и от нее надо отказаться. Однако подлинная картина жизни диалектной лексики в ее отношениях с литературным словарным составом весьма далека от той, которую рисуют сторонники полных словарей.

Давно уже является общепризнанным и никем не оспаривается положение о том, что основу любого говора русского языка составляет лексика, общая для всех говорящих по-русски (для всего русского народа); отличаются же говоры друг от друга и от общенародного (литературного) языка теми особенностями, которые и называются диалектизмами.

Своеобразие лексических систем говоров создается неповторимым сочетанием диалектных и общенародных элементов. И все же основу словарного состава любого говора представляет собой лексика общенародная, в противном случае пришлось бы говорить не о диалектах (говорах) русского языка, а о совершенно различных языках, далеко разошедшихся друг с другом.

Даже в лексическом составе трех восточнославянских языков – русского, украинского и белорусского – можно без труда найти очень много сходного, значительная часть словарного состава трех этих языков является общей, одинаковой не только с материальной стороны, но и по особенностям семантики и условиям функционирования в речи. А ведь это три различных, пусть и близкородственных, языка. В нашем же случае речь идет об одном языке и его территориальных ответвлениях – говорах.

¹ Сороколетов Ф.П. Диалектная лексика в ее отношении к словарному составу общенародного языка // Слово в рус. народ. говорах. – Л.: Наука, 1968. – С. 222-236.

² Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. – 2-е изд. – М., 1965. – С. 201.

³ Филин Ф.П. Некоторые проблемы диалектной лексикографии // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. – Т. XXV. – Вып. 1. – 1966, с. 3.

⁴ Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954, с 55-56.

⁵ Оссовецкий И.А. Словарь говора деревни Деулино Рязанского района Рязанской области // Вопросы диалектологии восточнослав. языков. – М., 1964, с. 186.

⁶ Там же, с 198.

Р. И. Аванесов

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА¹

<...> Диалектология – наука о местных разновидностях общенародного языка в его историческом развитии. Диалекты сочетают в себе общие признаки данного языка с частными, различительными признаками каждого из них. Таким образом, структура диалектов по отношению друг к другу, а также по отношению к нормализованному типу национального языка тождественна в одних звеньях и включает в себе различия в других. Языковые различия, частное в языке, специфически диалектное не может быть признано вне связи с общими элементами структуры языка в его истории. Между языковыми особенностями, отличающими диалекты одного языка от диалектов другого, обычно имеются отношения строгих соответствий, благодаря которым они образуют в структуре языка так называемое ответственное явление.

Теория лингвистической географии состоит из двух тесно связанных друг с другом и объединяемых понятием диалектного различия отделов – картографирования и интерпретации карт.

Для интерпретации лингвистических карт важен тот факт, что по отношению к историческому развитию строя языка одна из диалектных особенностей, составляющих диалектное различие, обычно представляет собой сохранение старины (архаизм), другая (или другие) – черту новую (новообразование, иногда – заимствование). В процессе формирования норм национального языка одна из соотносительных диалектных особенностей оказывается в составе этих норм и тем самым перестает быть собственно диалектной. Естественно, что ее территория, по мере того как она укрепляется в качестве нормы национального языка, имеет тенденцию к расширению. Другие соотносительные особенности, являющиеся

чисто диалектными, могут постепенно суживаться в своем территориальном распространении.

Однако длительный процесс образования норм национального языка в разные его периоды охватывал отдельные стороны языка – фонетическую систему, грамматический строй, словарный состав – неравномерно. Известно исключительное единство русского языка в целом (включая его диалекты) по грамматическому строю и основному словарному фонду. Это единство объясняется, видимо, не только общностью происхождения русских диалектов и значительной устойчивостью грамматического строя и основного словарного фонда, но также тем, что в эпоху образования национального языка процесс нормализации затронул прежде всего эти решающие стороны структуры языка. Иначе обстоит дело с фонетической системой: образование норм здесь значительно отставало, а на первых порах, возможно, и почти отсутствовало. Лишь впоследствии, по мере дальнейшего укрепления и развития норм национального языка, более заметной стала нормализация языка в отношении его фонетической системы. Но, как известно, процесс этот еще не завершился и в наши дни; этим, видимо, прежде всего объясняется сохранение до последнего времени существенных различий в фонетической системе русских говоров, благодаря чему фонетика приобретает исключительно важное значение при изучении истории отдельных диалектов, а также при сравнительно-историческом изучении диалектов и родственных языков.

Известно, что следует различать возникновение языкового явления на определенной территории и его дальнейшее распространение. Последнее <...> далеко не всегда является механическим процессом заимствования, “миграции” слов, а по отношению к фонетике – простой заменой звуков (субституцией). В близкородственных диалектах оно чаще представляет собой сложный процесс развития явления, органически связанный с развитием диалектов по их внутренним законам. Само распространение языкового явления, в особенности фонетического и морфологического, на территории близкородственных диалектов свидетельствует о единстве структуры диалектов данного языка, т.е. обусловлено единством их внутренних законов развития при наличии в них определенных частных различий.

Нередко одно и то же бывает представлено на разных территориях в ряде своих разновидностей. Изучение структурных соотношений последних во многих случаях свидетельствует о одновременном возникновении явления на разных территориях, о направлении и разных этапах изучаемого явления. В других случаях структурные различия данного явления в отдельных диалектах могут свидетельствовать о том, что в си-

стеме этих диалектов существовали различия до возникновения рассматриваемого явления, которые и обусловили его структурные особенности.

Отсутствие структурных различий в том или ином явлении на обширной территории не всегда свидетельствует о его возникновении на всей территории, так как в процессе своего распространения это явление может в конце концов приобрести тот вид, который оно имеет на месте своего возникновения. Иначе говоря, структурное тождество изучаемого явления в разных диалектах может оказаться результатом качественно различных и относящихся к разному времени процессов.

Только изучение явления в его развитии, в определенных конкретно-исторических условиях, с привлечением всех относящихся к нему качественно различных источников может помочь восстановить наиболее адекватно те процессы, которые имели место в действительности.

Из предыдущего вытекает, что лингвистическая география имеет хотя и весьма важное, но вспомогательное значение для истории языка. <...> Характер изоглоссы, так называемый “лингвистический ландшафт”, сам по себе еще не объясняет истории явления, ибо один и тот же “ландшафт” может появиться разными путями, в результате разных процессов внутреннего развития языка и при разных исторических условиях.

Изоглосса также есть результат всего пройденного данным языком исторического пути развития. Поэтому простое сопоставление изоглосс с данными истории того или иного периода редко может помочь выяснению соответствующих явлений. Лингвистическая карта само по себе мертва и схематична. Из нее нельзя вывести историю языковых явлений и диалектов. Но она может озарить ярким светом историю языка, может помочь установить пути развития явлений, время и первоначальную территорию их возникновения, если мы умело ею воспользуемся, если одновременно с данными лингвистической географии мы будем изучать внутреннюю историю языковых явлений, учитывать их соотносительную хронологию, данные письменных источников, если при этом мы будем рассматривать все эти языковые данные в тесной связи с данными истории, исторической географии и археологии.

¹ Аванесов Р.И. Лингвистическая география и история русского языка // Вопросы языкознания. – 1952, № 6. – С. 25-47.

Н. Н. Дурново

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА¹

Глава II

Нынешние русские наречия и говоры

§ 43. Русские языки, т.е. языки великорусский, белорусский и малорусский, или украинский, кроме общего имени, сохранили в своей фонетике, грамматическом строе и словаре ряд общих черт, свидетельствующих о том, что они некогда, уже по распадении о.-сл. языка, составляли один язык. Хотя некоторые крупные различия между ними возникли еще в о.-сл. эпоху. Каждый из них в свою очередь распадается на наречия, различия между которыми лишь частью развились после образования этих языков, частью же коренятся в различиях между говорами о.-р. и даже о.-сл. эпохи. Именно в.-р. язык издавна распадается на наречия с.-в.-р. и ю.-в.-р. <...>

§ 44. Между наречиями <...> в наст. вр. резких границ нет, а есть переходные говоры, образующие постепенный переход от одного наречия к другому. Изучая их, можно заметить, что обычно в таких говорах черты одного наречия – основные, первоначальные, а черты другого – вторичные, проникшие в них позднее, под влиянием этого другого наречия, т.е. что эти говоры возникли вследствие объединения наречий, граница между которыми до этого объединения была более резкой. К переходным по происхождению принадлежит и московский говор, в основе с.-в.-р., испытавший ю.-в.-р. Влияние и усвоивший под этим влиянием аканье и другие ю.-в.-р. черты; но благодаря своему господствующему положению, как говор всероссийского политического и культурного центра, он утратил характер переходного говора, т.е. находящегося в стадии перехода от одного наречия к другому <...>. Переходные говоры между с.-в.-р. и ю.-в.-р. наречиями по своей основе – с.-в.-р., а черты, сближающие их с ю.-в.-р., – вторичные. <...>

<...> Переходные говоры, очевидно, возникли вследствие объединения диалектических систем, до того времени разобщенных между собою. Поэтому можно думать, что старые диалектические границы между с.-в.-р. и ю.-в.-р. <...> соответствуют каким-нибудь старым политическим или племенным границам. <...>

Северновеликорусское наречие

А. Общие северновеликорусские черты

§ 51. С.-в.-р. наречие в его непереходных говорах характеризуется следующими общими чертами:

а) фонетическими:

1) оканьем, т.е. сохранением различия между безударными *o* и *a*, по крайней мере после твердых согласных; после мягких это различие в общем также сохраняется, но в известной степени стерлось во многих говорах вследствие диалектического изменения *a* после мягких в *e*, с одной стороны, и диалектической замены *o* безударного после мягких через *e*, с другой стороны;

2) нередким выпадением *j* между гласными и вызываемым этим стяжением гласных, однако часто рядом с сохранением *j* между гласными у тех же лиц и в тех же словах: *бываёт, жалёт, моёт, торгуёт, бываэт, жалёт, торгуэт, быват, жалат, мот; Миколав, Ондрев* (заметим, что *oe* стягивается в *o*, а не *e*);

3) *g* взрывным из о.-сл. *g*; только в части говоров Олонецкой губ. такое *g* между гласными изменилось в *γ*; звук *γ* в gen. sg. местоимений и прилагательных в некоторых с.-в.-р. говорах другого происхождения;

[Для нынешнего фонетического строя с.-в.-р. и ср.-в.-р. говоров (в том числе и литературного языка), кроме мещерских и некоторых олонских, характерно отсутствие необусловленных особыми положениями звуков *γ* и *h*: во всех заимствованных словах с такими звуками они обязательно заменяются звуками *g* или *x*; наличие *γ* в цсл. словах объясняется тем, что эти слова ощущаются как слова другого стиля; в *лёгок* и *мягок*, часто произносимых с *γ*, последнее – перед сильно редуцированным гласным звуком, не препятствующим диссимилятивному влиянию следующей согласной. Неясно диалектическое сохранение *γ* в *богатый*].

б) морфологическими:

4) формами gen.-acc. sg. личных и возвратного местоимений на *-a*: *меня, тебя, себя*;

5) твердым *-t* в окончании 3-го лица обоих чисел глаголов; только в части говоров Олонецкой губ. встречаются формы 3 pl. глаголов 1-го тематического спряжения на *-ut'* с *t'* мягким; но в 3 sg. *t* твердо и там.

Следующие черты свойственны большей части с.-в.-р. говоров:

а) фонетические:

б) склонность *a* после мягких к переходу в *e*; в одних говорах в *e* перешло лишь *a* неударяемое (например, в зап.-новгородских), частью только перед мягкими, частью и перед твердыми: *в грезí, грезна́*, но *грязь*, – в других также и ударяемое *a*, но только перед мягкими: *грезь, прэник*, но

грязно; а между мягкими сохраняется и под ударением и без ударения в большей части говоров, отнесенных в “Опыте” МДК к Владимирско-Поволжской группе, а спорадически и в других. [Эта черта представляет живую фонетическую тенденцию значительной части с.-в.-р. говоров; поэтому новые слова подвергаются тем же изменениям: *шля́па* – в *шлѣ́пи* и т.п.];

7) совпадение о.-сл. *щ* и *с* (а также совпавшей с *щ* согласной из о.-сл. **tj* и **kt*) в одном звуке, в большей части говоров – в звуке *с* мягком или твердом, в небольшой части в звуке *щ* мягком и в части в шепелеватом звуке, среднем между *с* и *щ*: *хоцу*, *ноц*, *цас* и пр.; но во многих говорах известны оба звука – *с* и *щ*; в части таких говоров они смешиваются, т.е. вместо этимологического *с* является *щ* и наоборот: *отець*, *пец* и пр.; такие говоры восходят к говорам, в которых *с* и *щ* совпали; в другой части с.-в.-р. говоров *щ* и *с* различаются этимологически правильно. Некоторые из них, по-видимому, также восходят к говорам, не различавшим *с* и *щ*, и восстановили правильное употребление *с* и *щ* под влиянием других; таковы, например, говоры части Новгородской, Петроградской, Тверской и Олонецкой губ., сохранившие следы более раннего цоканья в произношении деепричастий *ушотцы* и т.п., по-видимому, московский говор, сохранивший также несколько слов со свистящими вместо старого *щ*, говоры с твердым *щ*, заменившим в них более старое *с* твердое из первоначального *щ*, и др. но в одной группе с.-в.-р. говоров, по-видимому, *с* и *щ* различались правильно уже в древнейшую эпоху: это группа залесских говоров в нынешних Ярославской, Владимирской и Костромской губ. Территория, занятая этими говорами, в глубокой древности выделялась среди остальной с.-р. территории. Это был степной остров («поле») среди лесов, покрывавших с.-р. равнину. Население его политически в историческую эпоху никогда не тянуло ни к Новгороду, ни к Твери и, наоборот, еще со времен Володимира Св. поддерживало связи с Южной Русью. Возможно, поэтому, что отсутствие как цоканья, так и ряда других характерных для остальных с.-в.-р. говоров черт в этой группе стоит в связи с давней обособленностью ее от других с.-в.-р. говоров. Отсюда уже правильное различение *с* и *щ* с течением времени могло распространиться на соседние говоры; присутствие же цокающих говоров кое-где и на названной территории могло быть вызвано позднейшими колонизациями;

8) мягкость *s* в суффиксах *s'k* и *s'tv*: *женьской*, *балось(т)во*; твердо *s* в этих суффиксах только в говорах Владимирско-Поволжской группы;

9) переход сочетания *dn* (из о.-сл. *dъn* или *dъn*) в *n* долгое: *онна́*, *сово́нни*; *dn* сохраняется без перехода в *n* долгое главным образом в гово-

рах Владимирско-Поволжской группы. Подобным же образом во многих говорах *bt* изменилось в *t* долгое: *омма́н*, а *vn* в *tn*: *дамно́*, *ро́мной*, но эти изменения, по-видимому, возникли позднее и не получили такого распространения;

б) морфологические:

10) dat.-loc. sg на *-y*, *-i* от имен на *-a*: *к горы*, *на земли*;

11) instr. pl. на *-m*, т.е. совпадение instr. pl. с dat. pl. в одной форме: со своим друзьям; в части говоров известны также instr. pl. местоимений на *-m'a*: *имя́*, *темя́*, *всемя́*, реже *худы́мя*, существительных на *-ma*, реже на *-tu*: *де́вкима*, *песка́мы*, и прилагательных на *-ma*: *золоты́ма*; при этом формы на *-ma*, *-m'a* встречаются и в значении dat. pl. Формы instr. pl. на *-m'i* в с.-в.-р. говорах редки и часто смешиваются с dat. pl. на *-m*; поэтому их можно считать заимствованием из ю.-в.-р. или из литературного языка.

12) сохранение старого места ударения во многих случаях, где оно не сохранено в ю.-в.-р.; вообще с.-в.-р. ударение архаичнее и более подвижно, чем ю.-в.-р.; так, с.-в.-р. наречие по большей части сохранило старое ударение на предлоге, подвижное ударение в склонении (*рука́* – *ру́ку* и т.п.), старое место ударения в спряжении (*вари́ш*, *краси́ш*, *иди́те* и пр.), хотя имеются и некоторые специально с.-в.-р. новообразования и в этой области. Но некоторые архаичные черты в ударении, свойственные большинству с.-в.-р. говоров, утрачены говорами Владимирско-Поволжской группы, как, например, ударение на конце во 2 pl. некоторых глаголов (*спи́те*, *иде́те* вместо *спитэ́*, *идитэ́* других говоров);

13) сохранение инфинитивов на *či* (*-ci*) при ударении на окончании, частью с заменой их новообразованиями на *-kči* (*-kci*): *печи́*, *пекчи́* и пр.;

14) постпозитивный член на *-ot*, *-ta*, *-to*: *дом-от*, *избу-ту*. <...>

Южновеликорусское наречие

§ 62. Ю.-в.-р. наречие в целом характеризуется следующими чертами:

а) фонетическими:

1) аканьем, т.е. совпадением старых безударных *a*, *o* и *ь* сильного не после мягких и совпадением *a*, *o*, *e*, *ě* и *ь* сильного после мягких и шипящих; гласные, получившиеся из старых *a*, *o*, *ь* и из старых *a*, *e*, *ě*, *ь* различны, смотря по их фонетическому положению и по говорам. [Аканье принадлежит к числу живых тенденций ю.-в.-р. и ср.-в.-р. Безударное *o* в иностранных словах сохраняется лишь постольку, поскольку они создаются словами другого языка; поэтому лица, вовсе не знакомые ни с одним иностранным языком, устраняют в своем произношении безударное

о и в таких словах, которые в литературном языке принято произносить с безударным о (как, например, в иностранных фамилиях)];

2) переходом ударяемого *ě* почти во всех говорах в *e*, открытое перед твердыми, закрытое перед мягкими; в немногих архаичных говорах *ě* сохраняется как дифтонг *ie* или гласная неоднородной артикуляции, начинающейся с *i* и кончающейся *e*; *i* из *ě* – только в одном глаголе *jis't'* (inf.);

3) фрикативным *ɣ* из о.-сл. *g* в соответствии с с.-в.-р. *g*; перед глухими и в конце слова не перед звонкими шумными *ɣ* изменилось в *x*. [К числу живых тенденций ю.-в.-р., не распространяющихся на ср.-в.-р., относится недопустимость необусловленного положением звука *g* взрывного];

4) смягчением *k* после мягких неслоговых: *дóнькя, нóчкю* и пр.; говоры, где такого смягчения не наблюдается, – переходные, т.е. по своей основе с.-в.-р. или б.-р., частью – ю.-в.-р., испытавшие сильное влияние московского *χοινη*;

5) отсутствием дзеканья, т.е. произношения со свистящими мягкими аффрикатами из смягченных *t, d*;

б) сохранением этимологического различия между всеми шипящими и свистящими;

7) мягкостью *č* (соответственно и *dž* перед звонкими);

8) произношением *š, ž* долгих твердых из старых *šč, ždž*;

9) твердостью звука *s*;

10) сохранением старого сочетания *xv* без изменения в *f*.

б) морфологическими:

11) формой instr.sg. f. (т.е. старых основ на *-a, -i* и согласные) на *-иі* при ударении на основе: под *застрѣхуй, óсенюй, нóчюй, мáтерюй* (и *мáтерьюй*) и пр.; при ударении на окончании сохраняются формы на *-оі, -ју*: *асяньо́, рукóй*; впрочем, названные формы на *-иі* распространены не всюду, и есть говоры, сохраняющие неударяемые окончания *-аі* или *-еі* (из *оі*) и *ју*;

12) распространением формы loc. sg. на *-и* на имена мужского рода с неподвижным ударением и частью на имена среднего рода: *на жениху́, на коніу́, на коню́, при отцу́, на дявішнику, на стóлику, у пóлю* и т.п.

12а) распространением формы loc. sg. *-ě* (с ударением на окончании) на имена женского рода так наз. основ на *-i*: *в грязѣ́, в пылѣ́* и пр.;

13) образованием nom. pl. на *-а* не только от имен мужского рода, но и от имен женского рода: *хлопотá, деревня́, волостя́, зеленя́, площадья́, стенья́* и пр.;

14) сохранением старого этимологического различия между dat. и instr. pl., причем последняя форма всюду оканчивается на *-т'і*: *лесами, горами, людъмí* или *людя́ми, злыми, теми, нами, двумí, трюмí*;

15) сохранением в *у* в gen. sg. m. и n. местоимений и прилагательных: *таго́, зло́га*;

16) формами gen.-acc. sg. личных и возвратного местоимений на *-е*: *мене́, тебе́, себе́*;

17) формой dat.-loc. sg. личного местоимения 1-го лица *менѣ*;

18) окончаниями acc. sg. f. прилаг. *-ѳја* под ударением, *-аји* (*еји*) без ударения: *злу́я, до́браю*;

19) произношением *је* (не *јо*) в gen.-acc. f. местоимений *ее, тое, самое, всее, одное* там, где эти формы не заменены новообразованиями на *-ји* (*яю́, таю́, всяю́* и пр.);

20) формой nom. pl. местоимения *аны*;

21) отсутствием форм *ѣси́, даси́* (употребляются только формы *ѣи, даи*);

22) *t'* мягким в 3-м лице обоих чисел глаголов: *бязгѣть, жнутъ*; *t'* может отсутствовать в 3 sg. глаголов 1 спряжения (с гласной *е*) и глаголов с ударением на основе, реже в 3 pl. глаголов 2-го спряжения (с гласной *і*) при ударении на окончании: *несѣ, гаря́*;

23) совпадением окончаний 1-го и 2-го спряжения (с гласными *е* и *і*) при ударении на основе: во 2 и 3 sg. и 1 и 2 pl. перед согласной окончания всюду *і*, в 3 pl. и (*іи*), при отсутствии *t'* 3 sg. *а* с его фонетическими заменами: *ко́литъ, мо́литъ, і́дутъ, хо́дють, пі́ша, сѳ́ша, і́дя, хо́дя*;

24) гласной *е* (не *о*) в окончаниях во 2 и 3 sg. и 1 и 2 pl. глаголов 1-го спряжения при ударении на окончании: *несѣш, -ѣтъ, -ѣм*;

25) отсутствием инфинитивов на, *-ти, -ѣи*, замененных всюду инфинитивами на *t', ѣ*: *местъ, несть, лечъ, идѣтъ* и пр.;

с) тенденцией, не проведенной, впрочем, последовательно, к прикреплению ударения на основе у прилагательных: *гѳ́стай, на́гай, прѳ́стай, то́лстай* и т.п.; d) утратой старого ударения на конце во 2 pl.; всюду только: *спѳ́те, хотѳ́те, идѣте*; e) тенденцией, не проведенной последовательно, к переносу ударения на основу во 2 и 3 sg. и в pl. у глаголов, имевших первоначально в этих формах ударение на окончании: *ва́лиш* или *во́лиш, во́риш, до́риш, падо́риш, ко́тиш, кра́сиш* и *кросиш, ма́ниш, со́диш, пасо́диш, то́циш, хорóниш* (в большей части примеров *о* вторичное на месте *а*) и т.п. <...>

Средневеликорусские говоры

§ 69. Так называются говоры, по происхождению с.-в.-р., развившие в себе аканье под влиянием ю.-в.-р. говоров. Эти говоры не составляют единого целого ни по своей основе, так как в основе их лежат разные говоры с.-в.-р. наречия, ни по тем новым чертам, которые наслоились на

эту основу, так как эти черты развились в них под влиянием разных частью ю.-в.-р., частью ср.-в.-р. говоров, раньше испытавших подобную эволюцию, ни по самой эволюции, так как представляют разные стадии однородных процессов: тем не менее, в силу однородности пережитой или переживаемой ими эволюции, ср.-в.-р. говоры имеют ряд общих черт, одинаково отличающих их как от с.-в.-р., лежащих в их основе, так и от ю.-в.-р. под влиянием которых они возникли. При своем возникновении ср.-в.-р. говоры были переходными к ю.-в.-р., т.е. находившимися в стадии перехода от с.-в.-р. к ю.-в.-р. Но с течением времени один из таких переходных говоров – московский – стал языком господствующих классов населения и получил значение образцового, *χοινῆ*. Это обстоятельство остановило его эволюцию как переходного говора и вызвало изменение в направлении эволюции других ср.-в.-р. говоров, которая стала определяться нормами не ю.-в.-р., а московскими. Начало образования ср.-в.-р. говоров восходит к эпохе не позже XIV в. от этого времени до нас дошли, между прочим, московские памятники со следами аканья; с тех пор этот процесс не прекращался до настоящего времени, и теперь аканье успешно продолжает распространяться среди с.-в.-р. наречия вместе с рядом других черт, свойственных московскому говору.

Ср.-в.-р. говоры занимают широкую полосу между чистыми с.-в.-р. и чистыми (исконными) ю.-в.-р. говорами, но, кроме того, есть области, занятые такими говорами, и вне этой полосы. Самый большой остров ср.-в.-р. (акающих) говоров среди с.-в.-р. находится в Костромской губ., в верхнем течении р. Костромы.

Большая часть тех особенностей ср.-в.-р. говоров, которые не вызваны влиянием ю.-в.-р. или московского говоров, та же, что и в соседних окающих с.-в.-р. говорах; только черты московского говора распространяются на эти говоры более интенсивно, чем на говоры, сохраняющие оканье. Из ю.-в.-р. черт они усваивают главным образом те, какие имеются и в московском, но проникают и другие ю.-в.-р. черты; между прочим, довольно значительная часть говоров на юго-западе ср.-в.-р. территории и небольшая часть говоров лесной части Рязанской, Тамбовской и Пензенской губ., так наз. “мещерских”, имеет *t'* в 3-м лице глаголов, а говоры мещерские также и фрикативное *γ*: на с.-в.-р. основу этих говоров указывает цоканье и некоторые другие с.-в.-р. черты. Впрочем возможно, что некоторые акающие говоры с умеренным аканьем или иканьем, относимые нами к ю.-в.-р. по признаку отсутствия цоканья и наличности фрикативного *γ* и *t'* в 3-м лице глаголов, но заключающие ряд московских черт в фонетике (например, отсутствие смягчения заднебных после мягких неслоговых, мягкое долгое из о.-сл. и др.), морфологии (на-

пример, московское употребление формы 1oc. sg. на -и, отсутствие асс. sg. f. прилагательных на *-íja*, отсутствие форм 3 sg. без *t'*) и словаре (*бороновать, ухват* вместо *скородить, рогач* и др.), должны считаться также переходными на с.-в.-р. основе.

Аканье ср.-в.-р. говоров, как развившееся на почве с.-в.-р. оканья в виде подражательного процесса, а не органически из тех основ, к которым восходит аканье в ю.-в.-р., отличается от ю.-в.-р. аканья. В большей части ср.-в.-р. говоров распространены умеренное яканье, иканье и еканье. <...>

¹ Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. – М.: Наука, 1969. – 294 с.